



1988

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ



5



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- ДЖАНСУГ ЧАРКВИАНИ.** Стихи. Переводы
Яна Гольцмана, Сергея Бори-
сова, Игоря Эбаноидзе 3
- СЕРГЕЙ БОРИСОВ.** Стихи. 8
- ИГОРЬ ЭБАНОИДЗЕ.** Стихи. 9
- ЛАДО МРЕЛАШВИЛИ.** На море. Рассказ.
Перевод Элисо Джалишвили . . . 10
- АЛЕКСАНДР ЭБАНОИДЗЕ.** Вниз и вверх.
Главы из романа 47
- ДАВИД НОЗАДЗЕ.** Стихи. Перевод Сергея
Алиханова 91
- ГЕОРГИЙ ХЕЧУАШВИЛИ.** Черные телеграм-
мы. Рассказ. Авторизованный перевод
Валентины Дольниковой . . . 92

ПУБЛИЦИСТИКА

- ОТАР ЧИЛАДЗЕ.** Ради жизни. Перевод Эду-
арда Елигулашвили 106

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- ГУРАМ БЕНАШВИЛИ.** Хроники волнующих
дней 125

- ЭЛГУДЖА ХИНТИБИДЗЕ.** Элементы средне-
вековой науки в поэме Руставели . . . 137
- ГРИВЕР ПАРУЛАВА.** Человек в древнегру-
зинской литературе . . . 142
- НАТАЛЬЯ ДЫБА.** Несколько отступлений в
прозу Эммануила Фейгина . . . 153

ЛИЧНОСТЬ И ВРЕМЯ

- ПААТА НАЦВЛИШВИЛИ.** Последнее интер-
вью. Перевод Бесика Уригашвили 162

НАУКА

- ГИВИ ЖОРДАНИЯ, ЗУРАБ ГАМЕЗАРДА-
ШВИЛИ.** Никифор Ирбах — грузинский ди-
пломат . . . 177

ИСКУССТВО

- ГУЛЕБАТ ТОРАДЗЕ.** Композитор-новатор . . . 194
- ДЕНЕЗА ЗУМБАДЗЕ.** Леонардо да Винчи с
автопортрета. Перевод Элеоноры Ка-
веладзе . . . 201

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

- ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.** «О времени и о себе...» . 210

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

- ГАРУН АКОПОВ.** Странички спортивной лето-
писи . . . 215

- КНИЖНЫЕ НОВИНКИ.** . . . 209

- ХРОНИКА** . . . 46, 90, 161, 176

Переключка гор

Георгию Леонидзе

Опять о тебе, незабвенный Георгий,
Сверкающий жарко, как мой дэдаспури*.
Грохочут по рощам разбойные бури —
Твой ветер леса отрясает в восторге.

Безудержно скачут по всей Алазани
Раздумья твои — быстротечные воды.
Налево молчат монастырские своды.
Направо костры языки развязали.

И я — порожденье мелодии мощной,
Пронзен я стенаньем глубинного дара.
Ты прямо из солнца — из чаши нектара —
Вспоен, словно пчелы из чаши цветочной.

Луна для тебя озаряла Дидгори.
Но там, где садится она бездыханно,
Забил из земли наподобье фонтана
Твой стих, неумолчный, как счастье и горе.

В сияющий рай безмятежный, безбурный
Вослед за тобою взлечу, догорая.
Дарует Господь, так в урочищах рая
Увижу и я виноградник пурпурный.

А ныне к долине прикованы взгляды,
Успеть бы постигнуть родимую землю...
Пусть горы ведут переключку — я внемлю.
Во мне, не смолкая, поют водопады.

* Дэдаспури — хлеб домашней выпечки.

Весна



Кажет Картли долы, бездны,
Оглушает птичьим пеньем.
Жарок шаг весны небесный,
Бег по облачным ступеням.

Все вокруг сияет ало.
Тихо-тихо. Рано-рано.
В сердце, бившемся устало,
Вновь зарубцевалась рана.

Сердце ласки запросило:
В каждом сердце май вершится.
У любви такая сила —
Даже страх ее страшится.

В силу жизни веря, зная
О красе нетленной здешней,
Поднимаю ветвь, как знамя —
Мне ль бояться ветви вешней?

Отчий край, воспетый мною,
Я люблю тебя до боли.
Только верой неземною
Мы сильны в земной юдоли.

Кто небесной полон жаждой,
Тем вручают дар небесный.
Да сияет в жизни каждой
Бог — Любовь, как свет над бездной!

Надежда на песни

Блаженства душе не досталось нисколько,
А все же она одолела болезни
И скорби, поскольку ее поднимала
Надежда — надежда на песни.

Вселенские боли не терпят отсрочки.
Но кто же осудит блаженного, если,
Во всем полагаясь на строчки и точки,
Он дышит надеждой на песни?

Извечным служеньем гармонии занят,
Вся жизнь посвящается цели единой.
Надеюсь, что песня достойная станет
Последней моей, лебединой...



Фортуна дарует бездумно и слепо.
И если, униженный странной судьбою,
И я возлетал на девятое небо,
То это, «Лилео», с тобою!

Когда в моем сердце — все скорби земные,
Когда донимает настырность невежды,
И тут не помогут опоры иные—
На песню, на песню надежды!

Земля священная

Позорные страсти, нелепые лица...
Бушует тщеславье в заботе излишней.
И каждый безумец при жизни стремится
Могилу добыть попышней, попрестижней.

О высь пантеона! В его лабиринте
Покой обретают!
И с криком, и с визгом
Спешат в Дидубе или рвутся к Мтацминде,
Мечтают о кладбище Сабурталинском.

Себе же заранее ставят надгробья.
Страшна пробивная мещанская сила.
То власть неживая!
То мертвых подобья —
И каждому давит на плечи могила.

Скажи мне,
О чем ты хлопочешь и плачешь?
А жизнь улетает, подобная птице...
В родимой истории много ли значить?
Сравнишься ли с братьями Херхеулидзе?*

* Херхеулидзе — девять братьев-героев, павших
в битве при Марабде.

Твой род
Отстояли они в обороне.
Ликуй,
Что живешь на земле материнской,
Что будешь на родине ты похоронен,
Что будешь засыпан
Землею грузинской.

Перевод Яна ГОЛЬЦМАНА

* * *

Коль скоро пришел я
в земную обитель,
однажды мне радость
яви, вседержитель.
Коль скоро я избран
для жизни тобою,
победную песню
спою над судьбою.
Однажды дай крылья,
свободу и славу.
Однажды даруй мне
награду по праву.
Однажды, как благо,
пошли обнищанье.
Однажды исполни
свое обещанье.
Однажды в могилу
низринь, утешитель...

Коль скоро пришел я
в земную обитель.

* * *

Румянному плачусь диву,
что в душу сошло мою.
Картлийскую славлю ниву.
Грузина на ней пою.
Кто статью со мною сравнится?
Чей нрав моего резвей?
По жилам моим струится
родник неземных кровей.
Слыву я на всю округу

лихим шутником не в друг.
И я козыряю другу
крылом перебитых рук.
И цвет моих песен розов.
И строй моих дум высок.
В моих кровеносных лозах
божественный бродит сок.
Иду по земной дороге
под сенью седой зари,
как юноша легконогий...
Тари, таридо-о, тари!

Перевод Сергея БОРИСОВА

Ркони

Вот наконец
Он возник впереди...
Молча и тихо
Ступаю, как тать...
Купол блестит,
И сверкают врата,
Самую малость
Осталось пройти.

Ркони, пришел я,
Но робок мой взгляд,
И прикоснуться
К тебе я не смею.
Высишься над
Головою моею,
Словно надежда,
Покоем объят.

Будто во мраке
Таящийся свет
Тьму озаряет
Внезапно лучами,
Так же орнамент,
Светившийся в камне,
Местность в небесный
Окрашивал цвет.





Ркони, казни меня
Или помилуй!
Долго бродил я, —
И вот, пред тобой.
Грешной не смею
Коснуться рукой;
Этот покой
Я нарушить не в силах.

Перевод Игоря ЭБАНОИДЗЕ

АВТОГРАФ ПЕРЕВОДЧИКА

Сергей БОРИСОВ

Могила Гранели

И молчание слову ровня,
если в душах печаль — одна.
Чу! Кладбищенская часовня.
Поминальная тишина.

В мертвой памяти кипариса
нет обличий и нет имен.
На булыжных путях Тифлиса
след поэта запечатлен.

Был бездомному мир положен
отчим домом... Кому пенять?
А в земле-то как тесно, боже!
Вся могила — рукой обнять.

А у жизни щедрот немало —
знай закусывай удила!
Муза скорби его избрала
и под сердце ему легла.

Оскорбленные бранным миром,
не polegшие в общий ряд
с медальонами на камне сиром
в небо слезы его глядят...



საქართველოს
რესპუბლიკის
ქვეყნური ბიბლიოთეკა

Дай мне силы, когда лучиной
обернется моя лоза,
над закланием, над кончиной,
не лукавя, поднять глаза.

Игорь ЭБАНОИДЗЕ

* * *

Последний день я провожу в Тбилиси...
Слова стекают звонко по камням,
Как капли дождевые по карнизу.
Сыреет паутина по углам.
Последний день я провожу в Тбилиси...

Я буду наблюдать полет листвы
На медленно редеющем проспекте
И, словно бы отвыкнув от любви,
Вслепую целовать осенний ветер,
Как бы сроднясь с кружением листвы.

Я в увяданьи разгляжу черты
Моей судьбы, прожитой и грядущей,
И в зыбком колебании листвы
Лишь образ твой, так светло вездесущий,
Не тронут увядания черты.

Звенят стволы платанов под дождем.
Я получил твое письмо сегодня,
И тихо размышляя ни о чем,
Я голову, прислушиваясь, поднял:
Звенят стволы платанов под дождем.

Последний день я провожу в Тбилиси...





НА МОРЕ

РАССКАЗ

Шаги затихли, и тогда Заал отворил дверь, кинул взгляд вдоль коридора — по ковровой дорожке, что-то бормоча, шел человек.

Пройдя длинный коридор до самого конца, он, не переставая бормотать, пошел назад.

Шаг у человека был четкий, твердый, почти строевой, но наметанный глаз легко определил бы, что он, конечно же, человек не военный.

Мужчина приблизился, и Заал услышал:

— Триста сорок семь, триста сорок восемь, триста сорок девять, триста пятьдесят... Здравствуйтесь!.. Триста пятьдесят два, триста пятьдесят три, триста пятьдесят четыре...

Он прошествовал мимо, не прекращая счета, лишь здороваясь повернул голову к Заалу.

Заал проводил взглядом литые плечи и мощный, хотя и морщинистый затылок.

Дойдя до другого конца коридора, мужчина повернул обратно — тем же шагом, в том же темпе. И вновь Заал услышал:

— Триста восемьдесят два, триста восемьдесят три, триста восемьдесят четыре, триста восемьдесят пять... Откуда приехал, друг?.. Триста восемьдесят восемь, триста восемьдесят девять, триста девяносто, триста девяносто один...

Он прошествовал дальше, не дожидаясь ответа, не замедляя шага, не выключаясь из счета. Только посмотрел на Заала мельком, полюбопытствовав, откуда он приехал.

«Видимо, недавно прибыл», — подумал Заал и посмотрел сквозь застекленные двери во двор.

Пелена дождя сливалась с рассветным туманом. Тяжелые желтые косые капли бились о мозаичный пол террасы, дробясь несметными брызгами.

Заал ступил на террасу и разом лицом и руками ощутил прохладную влагу. Наплывшим с моря туманом заволокло весь двор, даже макушки деревьев расплылись, растворились в белесой мути. На темно-влажном асфальте едва-едва проглядывались очертания машины — наверняка его, так как он один ставил на ночь ее между двумя пальмами. Другие ставили свои машины в дальнем конце двора, шагах в сорока, на краю леса, скрытом сейчас туманом.

Двор со стороны пляжа не был огражден и посторонние люди заходили сюда беспрепятственно.

После того как «раздели» — пусть и слегка — его первую машину, сорвали никелированную облицовку и боковое зеркало, он боялся оставлять «Волгу» без присмотра. Правда, сторож всеми способами пытался заставить Заала убрать машину из облюбованного им места, но Заал не то что перед сторожем, перед директором Дома отдыха не дрогнул.

— Или прими меня с машиной, — сказал он ему, — или я уеду, не останусь отдыхать! Рано утром уберу, но ночью хочу иметь ее перед глазами, иначе ни о каком отдыхе не может быть и речи, изведусь весь.

И что странного, что он так дрожал над машиной? Двадцать лет не удавалось купить «Волгу». Лишь с месяц назад председатель Союза художников удовлетворил наконец его просьбу и выделил одну машину.

Неважно, что ни радиоприемник, ни рукоятка переключателя не работали, что дверцы перекошены, багажник поврежден, а левая сторона капота вздернута и торчит, как кабаньий клык. Стоило ли печалиться из-за этого, когда мотор был отличный, садись и кати, куда пожелаешь.

Правда, в автомагазине Заал попробовал возмутиться: с какой стати за такую страхолюдину берут полную стоимость, почему не сделана скидка, но продавец разумительно пояснил: «Брак заводской, я, что ли, виноват? И не мой отец варганит их у себя в Очхамури да

308 2010033

шлет сюда! Цену снизить! Нет чтоб отблагодарить, самую лучшую получил!».

Обижаться на продавца действительно не стоило — он помог выбрать лучшую из тех, что были в магазине...

Пицунда небольшой городок, но это курорт, со всех концов приезжают сюда, разный люд крутится... Да он же помешается, если не найдет утром машину в целости, в порядке, или вообще не обнаружит ее на месте!

Задул ветер и еще больше скосил струйки дождя, швырнул в лицо холодные брызги.

Заал вернулся в помещение.

Странный человек по-прежнему шагал по коридору, все так же усердно считая шаги.

— Пятьсот одиннадцать, пятьсот двенадцать, пятьсот тринадцать, пятьсот четырнадцать... Куда ты в такой дождь?.. Пятьсот семнадцать, пятьсот восемнадцать, пятьсот девятнадцать...

Заал постоял немного, наблюдая за ним, потом вернулся в комнату.

До завтрака оставалось время, и он принялся читать «Гаргантюа и Пантагрюэля» на грузинском языке. Замечательные рисунки Гюстава Доре давно и хорошо были ему знакомы, но сейчас, снова соприкоснувшись с творениями гениального иллюстратора Библии, «Божественной комедии» и «Дон-Кихота», он невольно ощутил в пальцах зуд, так и потянуло взяться за кисть, но не меньше увлек его сам текст. Давно не доводилось читать что-либо в столь выразительном изложении — такой перевод могли породить лишь слитые воедино любовь к искусству, каторжный труд и преклонение перед родным языком.

Чтение увлекло Заала, и он поздно спустился в столовую, даже Олифантэ, который позже всех являлся к столу, успел позавтракать.

Заал поздравил Олифантэ с выздоровлением — неделю назад у него сильно подскочило давление, и не подоспей врач, дело кончилось бы, вероятно, плохо. Врач уложил его в больницу.

Олифантэ работал в Союзе юрисконсультom. В свои шестьдесят семь лет он был юношески бодр, беспечен и

жизнелюбив. Высокий, сухошавый, всегда подтянутый, держался прямо, и при этом был вежлив, сдержан, общителен. И ничего удивительного, что пользовался успехом у женщин, они липли к нему, как мухи к меду. Когда Олифантэ попал в больницу, они наперебой просили Заала отвезти их к нему. Длинное непривычное имя Олифантэ они переименовали в более удобное — Олифа, Алифа, Алифан. Куда было деться Заалу — он несколько рейсов совершал в день по маршруту «Дом отдыха — больница».

— Слушай, Заал, ешь быстрее — и поедем в Сочи. Пройдемся по магазинам, может, подвернется что-либо.

— Пока болел, извели меня твои поклонницы, а поправился — решил сам доконать меня? Если собираешься купить что-либо для своих поклонниц, то, прямо говорю, не поеду.

— Заладил — поклонницы! До них ли мне? Внушатам хочу купить чего-нибудь.

— Неблагодарный же ты, Олифантэ. Твои обожательницы самозабвенно, самоотверженно выходили тебя, спасли, а ты джентльменом быть не хочешь!

— Иди, иди, займись своим делом, мое джентльменство — не твоя забота.

Заал улыбнулся и, хлопнув Олифантэ по плечу, отошел.

«Пойду, пойду, конечно... Эх, нет чтоб оставить в покое меня и мою машину...»

Рядом с Олифантэ за столиком сидел скульптор с женой. Он дружелюбно улыбнулся Заалу.

— Вы, оказывается, вчера Вартапетяна и Серебрякова возили в Лидзаву, мандарины покупали. Не откажите в любезности и мне с Верой, повезите и нас, если, конечно, утихнет дождь, — и скульптор повернул к супруге гривастую голову, сияя круглым, подобно двухнедельной луне, лицом.

Заалу стало дурно...

Со скульптором и его супругой он познакомился в первый же день приезда. Одновременно с ними подошел к лифту и, когда дверь открылась, отступил, пропуская их вперед. Однако и скульптор проявил учтивость, тоже отступил, вежливо предоставляя ему возможность войти первым. Этим не преминули воспользоваться уборщица и еще двое, вероятно, отдыхающие. Когда

лифт еще раз открылся перед ними и мужчины вновь церемонно отступили, жена скульптора вошла первой и увлекла за собой галантных мужчин.

Заал незаметно, но с интересом разглядывал женщину. Лишь слегка увядшая бесцветная кожа лица и шеи говорили об ушедшей молодости, хотя женщина была стройна, и красота ее, пусть и поблеклая, была приятна и притягательна. Лицо женщины выражало скуку и равнодушие, а муж широко улыбался новому знакомому.

С тех пор они приветливо здоровались при встрече, а после того, как Заал однажды взял им билеты в кино, расположились к нему сверх меры.

— Вы не против, если и Сулейман-заде поедет с нами? Не возражаете?

А как было возразить? Машина новая, бензин достать, слава богу, не проблема, и Заал развел руками, вымученно, деланно улыбаясь, как бы говоря: «Разумеется, прекрасно, если и Сулейман-заде поедет, что может быть лучше?!» — и направился к общему большому столу, на который ставились огромные салатницы с капустой и зеленым горошком, вареной свеклой, тертой морковью, редиской, графин с уксусом и полный чайник с подсолнечным маслом. Заалу этот стол напоминал о поездке в Финляндию — и там туристы с тарелками в руках набрасывались на уставленный снедью длинный стол и нетерпеливо ждали, когда высвободятся ложки для салата...

Салатницы были опустошены, а остатки овощей разбросаны по столу.

Что ж, пенять не на кого, завтрак давно кончился.

Направляясь к своему столику, Заал нечаянно перехватил нацеленные на него взгляды супружеской пары.

«Да, зря поехал вчера в Лидзаву... И мандарины-то ведь зеленые... Конечно, отвезти на базар и этих можно, но они же скажут другим, те еще другим — когда же отдыхать?! Третью неделю здесь и ни разу не искупался! Какое там купание — на пляж выйти некогда, полежать, позагорать немного».

Брат дожидался его за столом. Придвинул тарелку с капустным салатом.

— Успел взять и для тебя. Почему так поздно?

— Препоганая погода, — Заал помахал рукой,

разгоняя мух. В трехстах шагах от Дома отдыха находилась птицефабрика, где ежедневно били и потрошили тысячи кур, и в столовой от мух не было спасения. Всего неделя осталась и, похоже, не видать больше солнца...

— И скука ужасная. Ни одной стоящей женщины.

— Женщин — предостаточно, ты только погляди.

— Эти дамы на свои физиономии кладут больше красок, чем мы на холсты, — Нико посмотрел на заставший окно туман. — Похолодало как! Нет, брат, не стоит отдыхать на море в октябре.

— Прогуляйся по Пицунде, если наскучило здешнее общество.

— Бежан к киношникам водил вчера... Музыка, танцы. Видел бы, как скачут и носятся старушки, как прыгают и резвятся со своими партнерами. Смотреть тошно...

— Ты еще надеешься понравиться женщине? Ну какая из них увлечется таким? Давно известно — в женщине частица черта. Любая из них чувствует, чем ты дышишь, что о ней думаешь, и бежит от тебя, как черт от ладана.

— Знаешь, чему я поражаюсь? Как они умудряются сохранить и здоровье, и фигуру! Лицо, конечно, выдает годы, но тело молодое! Наша женщина еле до тридцати сохраняет форму, потом полнеет, расплывается так, что... Нет, не умеют наши следить за собой.

— Бежана видел?

Бежан занимался декоративным оформлением тканей, с живописцами и скульпторами не связан, и Заал почти не знал его. Похлопав Заала по спине, он с ходу предложил:

— Твоя машина, моя компания!

Заал промолчал. Он собирался по-настоящему отдохнуть, привести в порядок издерганные нервы.

Почти на полтора года затянулся капитальный ремонт — чего стоило получить разрешение на переделку квартиры, достать стройматериалы... Сколько сил угрохал, сколько времени загубил, пока таскался по инстанциям, обивал пороги, просил, кричал, требовал, сколько денег переплатил, приобретая «левые» материалы, мастера-шабашники обманывали, подводили — за ними глаз да глаз был нужен! А всякие непредвиденные рас-

ходы! Извелся, измотался ужасно, и врач посоветовал, хотя бы на месяц отдохнуть от всяких дел, забот, хлопот, даже кисти и карандаша не брать в руки.

Сластолюбцем Заал даже в молодости не был, и сейчас, в его состоянии, предложение Бежана покорило его. Но не скучать же одному, и на другой день после приезда они поехали в центр Пицунды.

Машину оставили возле кафе, а сами пошли прогуляться по выложенной плитами набережной.

Миновали арку с изогнувшимися над ней дельфинами, готовыми нырнуть в воду, и пловцами между ними.

— Это новый пансионат, — указывал и пояснял Бежан. — А в этом — отдыхают иностранцы.

На песчаном берегу Заал остановился перед скульптурной композицией Медеи с детьми. В отличие от Медеи на знаменитой картине Делакруа, такой же темной, как душа женщины, разъяренной изменой мужа и убившей своих детей, в этой композиции Медея держала меч в ножнах, опустив свою сильную руку над двумя малышами, укрыв их полой развевавшегося плаща. Эта Медея защищала детей от холодного дыхания смерти.

Возвращались Заал с Бежаном тем же путем — снова шли мимо многоэтажных корпусов, мимо пляжей.

Когда они поравнялись с пансионатом, в котором отдыхали иностранцы, Заал заметил чуть в стороне от набережной молодую женщину, пристроившуюся на небольших качелях. Она была одна. Слегка качаясь, она грустно смотрела в морскую даль. Тонкие черты породистого лица, точеный нос, спокойный взгляд покорили Заала.

Вид ушедшей в свои мысли женщины, ее отрешенность чем-то соответствовали его настроению, и он безотчетно потянулся к ней. Но нарушить ее уединение, вторгнуться в мир ее души мог только наглый человек — так казалось Заалу... Если б она сама обратила вдруг внимание на простого художника, Заал лишь прилег бы у ее ног, вот тут, на берегу, слушая таинственное бормотание прибоя, лижущего пеструю гальку. Нет, ничего не хотелось ему больше — быть бы с ней рядом и, положив усталую голову к ней на колени, чувствовать, как скользят по его жестким волосам ее тонкие прекрасные пальцы...

— Куда ты смотришь? А-а, на эту мадонну? Пошли, пошли, ничего особенного... Что, не оторвешься? Хочешь, заберем ее с собой?

Женщина не отрывала прищуренных глаз от морской дали, и лицо ее не изменилось, — казалось, перед ней возникли бесплотные существа.

— Гутен таг, фрейлейн! — Бежан по-гусарски щелкнул каблуками, маслянисто заблестел глазами и широко улыбнулся, обнажив шербатые зубы.

Но женщина и бровью не повела. Сидела, тихо раскачивая качели, и все смотрела куда-то, захваченная своими мыслями.

— Бонжур, мадемуазель!

В ответ — выразительное молчание.

Заал чувствовал себя очень неловко.

Бежан со слащавой улыбкой на лице пустил в ход «Буэнос диас, сеньорита!», «Добри вечер, барышня!» и заключил по-украински: «Добры вичер, дивчина».

Взгляд женщины оживился.

— Вы знаете украинский? — спросила она по-русски.

— От имени любви я говорю на всех языках.

В глазах женщины промелькнул намек на улыбку.

— Тяжкое бремя возложили вы на себя. В самом деле знаете украинский?

— Клянусь Венерой, так по-русски говорят только в Ленинграде! Неужели мадемуазель изволит быть украинкой?

— Я из Харькова.

— О-о, я три года читал лекции по философии на искусствоведческом факультете Харьковского университета.

— В самом деле? Поразительно. Я как раз училась на этом факультете, а вас никогда не видела. Впрочем... вы в какие годы преподавали? Я сама из Ленинграда, девять лет назад переехала в Харьков, к мужу.

— О, сказал же, ленинградца за сто шагов узнаю! Не ошибусь! Сколько проводил я белых ночей, когда учился в Ленинграде — в аспирантуре на кафедре антропологии. Да что я ударился в воспоминания! Кому интересно мое прошлое, когда краса Украины и России, жемчужина Черного моря, прекраснейшая из избранной половины человечества скучает, подобно одино-

кой фее? Дозвольте быть сегодня вашим фараоном, чтобы в мгновение ока исполнять желания Нефертити, сошедшей с солнечных качелей.

«Нефертити» обдала улыбкой торчащего перед ней «фараона», но покачала головой.

— Извините, не могу. Не сомневаюсь, что провести вечер в вашем обществе будет приятно, но не могу.

— Что вам мешает, дорогая нимфа?

— Голова болит. Поздно легла, плохо спала.

Женщина сказала это просто, естественно, приглаживая своей прекрасной рукой не менее прекрасные волосы, и Заал счел бестактным уговаривать ее дальше, настаивать, но Бежан не собирался отступать.

— Позвольте спросить, мадам, чем вызвана головная боль, что вас угнетает?

— Вчера вечером мои друзья устроили прощальный ужин, поэтому я легла поздно. Утром мои друзья уехали...

— Вот, оказывается, почему в глазах прекрасной дамы всемирная печаль. Но не беда, не скорбите. Ваши новые друзья устроят для вас ужин, который затмит вчерашний, рассеет вашу грусть, предаст ее вечному забвению! Позвольте вашу руку, спуститесь на грешную землю.

— Честное слово, не могу, поверьте.

— Верю, но не в силах оставить вас наедине с вашей головной болью. — Бежан взял ее за руку и легко, но твердо потянул с качелей.

— Как вы упрямы, мужчины, — женщина нехотя сошла и, вяло улыбаясь, последовала за ним.

Бежан усадил женщину в машину и сам опустился на сидение рядом с ней.

Заал включил зажигание и наклонил зеркальце. Время от времени он заглядывал в него и все более омрачался: Бежан чисто поджентльменски охмурял женщину. Внешне она оставалась бесстрастной, на шутки и анекдоты, которые явно не предназначались для слуха водителя — слишком тихо произносились — лишь дружески улыбалась, а если и смеялась, то не глядя на спутника.

Проехали полпути, и Бежан похлопал водителя по плечу:

— Будь другом, останови на минутку у продмага.

Просьба Бежана не привела Заала в восторг, но он все же остановил машину.

Бежан вернулся с плиткой шоколада, бутылкой шампанского и двумя бутылками пива.

Пока философ-антрополог забегал в магазин, Заал два раза посмотрел на женщину в зеркальце. Она тоже взглянула на него, но бесстрастно, почти невидяще. Глаза ее все еще таили грусть. Вообще неразговорчивый, Заал сейчас вовсе лишился речи, не способен был выдать из себя самых простых слов, чтобы до возвращения Бежана хоть как-то поддержать разговор.

К тому времени, когда они подъехали к Дому отдыха, настроение у Заала было вконец испорчено.

Выбравшись из машины, Бежан взял женщину под руку и предложил:

— Поднимемся ко мне, посидим минут пять, побеседуем.

Перекинув плащ через руку, женщина шла просто, не ломаясь и не кривляясь, ладная, стройная в обтянутых джинсах. И Заал пожалел, что позволил Бежану привезти ее сюда.

Вплоть до ужина не спускался Бежан вниз. К столу явился поздно. Заал не превозмог любопытства, нашел свободный стул и подсел к столу, за которым ужинал Бежан.

— Что ж ты не поднялся, мы тебя ждали, — равнодушно произнес Бежан. — Мы отлично развлеклись.

Заала замутило от его наглого вида и он поспешил уйти из столовой.

— А чего другого ты ждал от него? — заметил Нико, когда Заал поведал ему эту историю.

Заал не ответил.

— Пойду сыграю в пинг-понг. А ты куда?..

— Не знаю. Загляну в бильярдную.

Стол для пинг-понга находился в длинном просторном коридоре. Играли Ташбулат и Турил-бай. По поясу обнаженный Турил-бай учил противника виртуозной игре и так «топил» мяч, что и профессионалу не отбить.

Заал направился было в бильярдную, но передумал, пошел в вестибюль. По пути столкнулся с неразлучной тройкой: литовкой Лорой Лаунискайте, москвичкой Эльзой Абрамовной и врачом из Тбилиси — Фати. Немо-

лодая, но не утратившая еще красоты Фати, как и всегда при встрече, польстила Заалу:

— Вот кто самый галантный и самый красивый мужчина!

— Мое почтение трем грациям, — поздоровался Заал, не задерживаясь около них.

В непогоду основная масса отдыхающих крутилась в вестибюле. Одни — с утра пристывали глазами к телеэкрану, другие сражались в нарды, стуча шашками у самой телефонной будки, третьи наблюдали за шахматистами, почему-то игравшими у лифта.

Люди толпились вдоль стен, середина вестибюля была пуста.

Заал, шедший прямо через вестибюль, стал как вкопанный — весь пол заливала вода. Две уборщицы осушали пол тряпками, отжимая воду в ведро.

— Что произошло, Арнольд? — спросил Заал эстонского мариниста, которого в любую погоду можно было увидеть с мольбертом на берегу под какой-нибудь сосной.

— Как выяснилось, благодарить за эту прекрасную жанровую картину с двумя уборщицами и ведром следует строителей Дома отдыха. Взгляните вверх!

Под отсыревшим блекло-голубым потолком от стены к стене тянулись железные трубы, вдоль них там и сям зияли темные провалы. На промокших местах блестяли капли воды, словно испарина.

— Откуда взялось столько воды?

— По просьбе отдыхающих включили отопление, похолодало неожиданно...

— Верхние этажи, кажется, вообще не достроены.

— Строим быстро, дешево и... — Арнольд отошел, не договарив.

С противоположной стороны в вестибюль вошли, взявшись под руки, бакинец Сабир Ахмедов и ереванец Матевос Вартапетян. Они шли, весело, оживленно беседуя и при взрывах смеха припадая друг к другу.

Сабир и Матевос в первый же день приезда обратили внимание на отдохавшую тут генеральскую дочь и чуть было не разругались из-за нее. Пока они спорили между собой, она играла с Турил-баем в пинг-понг, и довольно успешно. В конце концов оба махнули

на нее рукой и сдружились, стали неразлучными приятелями. Славные они были парни, нравились Заалу.
— Ты сказал Зарембе, что я возил тебя в Лидзаву? — спросил Заал Матевоса.

— А что, нельзя было говорить? Виноват, вырви мне язык, Заал-джан! Случилось что-нибудь?

— Да нет... Просто им тоже захотелось поехать на базар.

— Ну и народ! В такую погоду хороший хозяин собаку не выгонит во двор! Скажи, перестанет дождь, повезу.

Заал усмехнулся и пошел к лифту. Поднявшись к себе, он, не раздеваясь, прилег на постели и некоторое время читал африканский дневник Делакура, потом мысли незаметно перенеслись в Тбилиси, к оставленной там семье. До самого обеда пролежал Заал, думая о жене, детях, о своей мастерской, представил, как зальет ее, если и там зарядят осенние дожди... Целый год обивал он пороги райисполкома и горсовета, глаза всем намозолил, а что толку?! Кто вникал в его нужду, кто его слушал?

«Поймите, нет жести! Запомните раз и навсегда — у нас нет жести на ремонт всех городских крыш!» — негодуя, объяснял заведующий соответствующим отделом.

«Вот вам распоряжение горсовета — лично для меня, для моей мастерской выделена тонна жести. Где она? Где жечь?!» — возмущался Заал.

«В Тбилиси много домов, нуждающихся в ремонте, на всех не напасешься».

Тем временем этого заведующего сняли, назначили другого.

И все повторилось.

«Вот распоряжение горсовета, для меня выделена жечь, отремонтировал я мастерскую за свой счет, это стоило бешеных денег. Я вправе требовать, чтобы мне отремонтировали хотя бы крышу, но если наконец дадите жечь, я перекрою мастерскую за свои деньги...»

«Жести нет», — ответил и новый заведующий.

Пошел дождь, мастерскую залило, тисовый карниз отсырел и отвалился...

Перед отъездом в Дом отдыха Заал в очередной раз зашел в райисполком попытать счастья. Секретарша со-

общила ему, что старого заведующего сняли, его кресло занял новый. Но Заалу не повезло и в этот раз. Нет, не выбраться, видать, ему из этого заколдованного круга...

...Перед обедом зашел брат, принес каштаны.

— Ешь, мы с Карумом на базар ходили. Встретили Нинико и Лелу. Спрашивали о тебе, интересовались, почему не заходим в гости.

— Какая Нинико? Какая Лела?

— Не помнишь? На водных лыжах катались в Лидзаве. Давай навестим их сегодня. Кстати, вспомнили, как мы обедали в «Пацхе»...

Заал помнил Нинико и Лелу, о которых говорил Нико.

Они с Нико заметили их на дороге — девушки еле плелись, усталые. Заал остановил машину и предложил подвезти.

Девушки охотно приняли приглашение. Оказалось, что они живут в Алахадзе и оттуда, из такой дали, приходят на пляж в Лидзаву. Сетовали, что на Пицунде все высотные корпуса спроектированы их институтом, сами они инженеры-проектировщики, а в Пицунде даже комнатушку не смогли снять.

Заал обещал помочь, поговорить с директором Дома отдыха, которого знал немного. Но надежда не оправдалась — у директора не было ни путевок, ни курсовок.

Расстроенные девушки вышли из машины, собираясь пешком возвратиться домой, Нико проявил учтивость — предложил отвезти их.

Девушки снимали номер в маленькой одноэтажной гостинице на окраине Алахадзе, за птицефермой. Гостиница находилась на берегу моря в мандариновом саду, в тени кипарисов и исполинского ореха. Красивое было место и тихое, уединенное, но от Лидзавы слишком далеко.

Заал собирался тотчас ехать назад, но девушки пригласили братьев к себе, сказали, что у них есть мясо, они мигом зажарят его — однообразная пища в Доме отдыха наверняка опостылела.

Нико вспомнил, что в «Пацхе» готовят хороший шашлык, а главное — там бывает форель, и вообще он не допустит, чтобы такие чудесные девушки ради них возились на кухне.

Заал, с его страстью к свежей рыбе, особенно форели, поддержал брата.

В «Пацхе» они час дожидались, пока на них обратили внимание, принесли почти остывший гоми и обычную закуску — сыр, зелень, соленья, а спустя еще немалое время — две бутылки «Саперави», шашлык и форель — пять рыбешек длиной в пядь.

Форель была вкусная, но шашлык — не разгрызть и собаке.

Счет оказался внушительным — сорок пять рублей! Заал знал, разумеется, что в «Пацхе» с посетителей шкуру сдирают, но что настолько, даже не подозревал. И тихо попросил официанта подсчитать при нем.

«Рыба — 1 кг — 10 р., мясо — 1 кг — 14 р.», — стал подсчитывать официант. «Хватит», — остановил его Заал, прикрыв счет рукой, и не стал спорить, негодовать, даже удивления не выказал — как могли пять рыбешек весить килограмм. Но тихо сказал: «Между прочим, не мешало б вам знать, что сорок пять рублей — половина средней месячной зарплаты служащего...».

— Ну, чего задумался, Заал? — оборвал его воспоминания Нико. — Не бойся, приглашать их в «Пацху» не стану. Пошли? Видишь ведь, какая погода, чем тут заняться?!

— Бери ключи от машины и езжай один.

Нико помрачнел, посмотрел на часы.

— Пора на обед. Вставай, спустимся.

Пол в вестибюле успели вытереть. Отдыхающие благоразумно остерегались проходить под отсыревшим потолком.

Заал выглянул во двор и сокрушенно покачал головой. На крыше его «Волги» плясали струи дождя.

— Туман рассеялся, отведу-ка машину, я быстро, — бросил он Нико.

Возвращаясь, Заал столкнулся в дверях с художником, которого прозвал Иссык-кулем. Иссык-куль был маленького роста, и все у него было миниатюрным: нос, губы, глаза без ресниц. Смотрел по-детски доверчиво. Среди других выделялся тем, что даже в жару, когда все были в летних сорочках с короткими рукавами, он ходил в костюме, плаще, в одной руке держал шляпу, в другой — черный зонт (с зонтом он никогда не расставался). В таком виде заявлялся в столовую, постоян-

но жалуясь на холод. Был не в меру говорлив и общителен, и если уж завладевал кем-то, то надолго — отделаться от него было непросто. Он привез с собой альбом со своими рисунками и не упустил случая показать их. Талантом обладал, но был художником одной темы — изображал только боготворимое им озеро Иссык-куль: «Иссык-куль утром», «Иссык-куль в полдень», «Иссык-куль в дождь», «Иссык-куль в ветер», «Иссык-куль зимой», «Иссык-куль летом» — во все времена года и в любую погоду. Заал, в отличие от других, не избегал его, терпеливо любовался Иссык-кулем при любой погоде, чем и снискал особое расположение художника. На прозвище Иссык-куль художник не обижался.

— Я вчера закончил «Тополь на берегу Иссык-куля», — увязался он за Заалом. — Очень хочу показать вам. По-моему, отлично получается, даже лучше, чем «Вертолет над Иссык-кулем». Еще несколько мазков — осталось дописать рыбацкую хижину и сети на камнях, и картина готова. Горный фон — бесподобный! Уверен, вам понравится; с двух сторон громоздятся утесы, а по ущелью сползает ледник — почти до самого озера! Не представляете, сколько я сделал эскизов! И вот остановился на этом. Взгляните!..

— Вы жертвуете обедом? — Заал обхватил его за плечи. — С вашим завидным аппетитом? Давайте сперва ублажим желудок, а потом дадим насладиться душе — приложимся к прозрачному дивному Иссык-кулю!

— Ха-ха-ха! Как хорошо вы шутите! Прекрасно сказали! Согласен, сначала обед, потом Иссык-куль. Пошли скорей, а то разберут овощи, — и затрусил следом за Заалом, чуть не наступая ему на пятки, то и дело хватая за рукав и с улыбкой глядя на него снизу.

После обеда на Заала насел Олифантэ:

— Гулять в такую погоду не будем, поехали на базар за аджикой.

К Олифантэ присоединился Нико.

— Давай поедем, заглянем в магазины, может, костюм попадет подходящий.

К ним подключились Звиад Дарсавелидзе и Заза Швангирадзе — их манила «Хинкальная» на базаре.

Не выдержал Заал дружного напора, махнул рукой

и сел за руль, назидательно говоря себе: «Если уж забрел в воду по пояс, плыви».

Хинкали им подали довольно быстро — пока Олифантэ прошелся по базару, выбирая аджику, — но есть в тесной, грязной, набитой людьми «забегаловке» не хотелось, и они предпочли выбраться на свежий воздух. Рядом оказалась пустая стойка с навесом, на ней и разместили тарелки с хинкали и кружки с пивом.

Стояли под дождем, ели дымящийся хинкали, запиивали пенящимся пивом и обсуждали зарисовки Звиада Дарсавелидзе, запечатлевшие Нью-Грузинскую—Звиад только-только вернулся с БАМа.

— Не хинкали, а пельмени! — произнес с досадой Нико. — Сметаной б еще полить, и никакой разницы. Что они тут смыслят в хинкали! Хинкали в Телави надо есть, и то в «Абсайте» или в Руиспире.

— А в Нижнем Алвани в «Леце» Иофи плохо готовит, по-твоему? — не согласился с ним Заал.

— Отлично, кто спорит, но его уже нет там — в Ахмету перевели, директором ресторана.

Заал рассмеялся.

— Так уж у нас повелось — стоит человеку проявить себя в каком-нибудь деле, его «повышают», «выдвигают», ставят на такое место, где он ничего не способен сделать, и мы теряем хорошего мастера — доярку, скажем, пастуха, повара. Как пить дать, испортят парня в ресторане, втянут в бесчестные дела.

Невеселая речь Заала никому не испортила аппетита — блюдо в момент опустело.

Покончив с хинкали, они поехали по магазинам.

У тротуара перед универмагом стояли два «Москвича». Заал втиснул свою машину между ними, и вся компания направилась в универмаг.

Заза стал примерять ботинки.

— Хороши?

— Красивые, — одобрительно кивнул головой Олифантэ.

— Чьи? — спросил Заза продавца. — Похожи на итальянские.

— Итальянские, французские!.. Не все что красиво — итальянское. Наши они, отечественные!

— Э-э! Снимай, Заза, скидывай! Через две недели развалятся!

— Чем они тебе не нравятся? — заколебался За-
за. — Теперь и у нас шьют красивую обувь.

— На кой мне красота, если через неделю подметки
отлетят! Вот, третий год таскаю, чешские, — Олифантэ
выставил ногу.

— Третий год! И не надоело?!

Нико в сером костюме крутился перед зеркалом,
любясь собой.

— А этот рукав специально укорочен? — поинте-
ресовался он, вытягивая правую руку. — Чтоб соленья
удобнее брать из бочки, да?

Когда они вышли из магазина, дождь утих. На ас-
фальте широко разлились лужи. Машины, мчась на
большой скорости, обдавали прохожих грязью.

Заал отвез своих постоянных пассажиров в Дом от-
дыха, высадил у самой лестницы, поставил машину на
привычное место у леса. Пол в салоне был запачкан —
натаскали грязь ногами, и снаружи она вся была за-
ляпана.

«Придется мыть, — сокрушенно подумал Заал. —
Каждый норовит прокатиться в сверкающей чистотой
машине — покоя от них нет! — а начну мыть, так по-
мочь некому, разлетаются, как цыплята под ураганным
ветром».

После ужина Заал заглянул в бильярдную. Заяд-
лым бильярдистом он не был, понаблюдал некоторое
время за игравшими и вышел.

В коридоре стояли игральные автоматы. Заал охот-
но сыграл в морской бой. Впервые он видел такие ав-
томаты лет шесть назад, в Финляндии — с туристами
из своей группы смотрел, как развлекались туристы
других стран. Тогда ни он, ни его спутники не раско-
шелились на полмарки — разок сыграть, попробовать,
а сейчас он каждый день разменивал деньги на пятна-
дцатикопеечные монеты и то и дело оказывался у пуль-
та, ведавшего торпедами. Опустит монету в щелку, и
на экране тотчас возникают миниатюрные корабли, тя-
нутся гуськом, как утята, идущие купаться на речку.
Когда он попадал в цель и корабль взрывался, другие
корабли тотчас меняли курс. Одна монета давала пра-
во на десять выстрелов и, если все десять достигали це-
ли, то один раз можно было играть бесплатно. Заал
из спортивного интереса пытался добиться успеха, по-

пасть в цель десять раз, но больше девяти не удавалось...

У автомата стоял мальчишка лет двенадцати-тринадцати, худой, длинноволосый. Завладев пультом, он бил и бил в цель.

Пять раз пытал мальчик счастье, но переступить за цифру девять и ему не удавалось. Он упрямо бросал и бросал монеты, пока они не иссякли. Пошарив в карманах и не найдя ни одной монеты, он поднял голову и только сейчас заметил обступивших его людей. Стоявший рядом Серебряков протянул ему монеты.

Мальчик задержал взгляд на лице доброжелателя, словно запоминал, и помотал головой.

— Я ни у кого не беру денег. У меня свои водятся. Если понадобятся, попрошу у дедушки.

Сказал и отошел. Все с улыбкой смотрели вслед уверенно шагавшему мальчику.

— Страшно самолюбивый. Целый день тут проводит, стреляет и стреляет. Два раза предлагал ему деньги, не взял, — сказал Серебряков Заалу. — Уступить тебе очередь? Давай целься. Я уйму денег наменял сегодня, могу поделиться.

— Спасибо, монеты и у меня есть. Играй уж, самому, небось, не терпится.

Дождавшись очереди и израсходовав все монеты, Заал поднялся к себе, оделся потеплей — свитер, плащ — и вышел во двор.

По-прежнему сеял дождь, но ветер усилился и забрасывал колючую водяную пыль даже на внутреннюю сторону лестницы. Заал поднял воротник плаща и побрел по недавно выложенной плитами дорожке через заросли ежевики и стволы самшита, граба, ольхи. На краю леса дорожка обрывалась, сменяясь до самого пляжа галечником, накиданным бушующим морем.

Пляж был безлюден. Море почти не волновалось, белопенный прибой каймой извивался вдоль берега.

В полной тишине шуршал песок, откатываемый волнами обратно в море, и шелестел камыш.

Заал пошел по пляжу вдоль берега.

Ноги вдавливались в песок и гальку и он с трудом переставлял их, невольно приседая при каждом шаге.

Ветер бил в лицо колючими дождинками, и Заал низко пригнул голову, уткнулся подбородком в грудь.

За темной таинственной в этот час сосновой рощей, над далекими корпусами пансионатов на краю мыса воздух смутно светился. И в море, километрах в пяти от берега, что-то тускло мерцало в ночи — вероятно, теплоход подходил к пристани.

Дойдя до пляжа Дома творчества кинематографистов, Заал повернул обратно. Теперь ветер швырял холодные дождинки ему за шиворот, и он плотней стянул воротник.

Внезапный луч прожектора обшарил морскую гладь и задержался на миг у бухты. И тут Заал заметил одинокого рыболова: присев на корточки, ухватив руками удочку, человек пристально смотрел на поплавок где-то в невидимой дали. Он напомнил Заалу племянника — Джемала.

У Джемала была хорошая работа, но надо же так увлечься рыбалкой, чтоб забыть о своей работе и сочинять книгу в помощь рыболовам-спортсменам!

Заалу это не понравилось, он сказал племяннику: «Твои однокурсники уже в вузах преподают, а ты, как мальчишка, все развлекаешься. Хобби — это хобби, но ведь надо стремиться к чему-то большему».

Заал презирал людей, удовлетворенных достигнутым, лишенных идеала, цели, мечты, которую хотелось бы осуществить. Лично у него была мечта — с юности лелеял ее — создать картину, большое полотно, которое он зримо представлял себе.

В дремучем лесу у прозрачной заводи, образованной ручьем, остановился олень и настороженно смотрит на противоположный берег. Там у самой кромки берега стоит женщина, отжимая длинные волосы. Она, видимо, почувствовала на себе чей-то взгляд, повернула голову и, увидев оленя, вернее, его глаза, инстинктивно прикрыла рукой низ живота.

Среди художников Заал считался хорошим мастером, но даже в свои сорок пять лет, со своим опытом не решался браться за эту картину, говоря себе: «Такой сюжет легко опознать. Создать такую картину было б под силу разве что художнику эпохи Возрождения, к тому же — талантливому пейзажисту... Может, когда-нибудь и решусь, попробую...»

Заал хотел было подойти к рыболову, но передумал, зашагал дальше к Дому отдыха.

«Волга» стояла на краю леса. Он пристроил ее на ночь между пальмами и вошел в корпус.

По вестибюлю все еще сновали отдыхающие.

На телеэкране был час рекламы. Демонстрировалась прекрасная разнообразная одежда, обувь, выставленная на прилавках и полках магазинов. «Покупайте товары отечественного производства».

На своем этаже он снова увидел в коридоре человека, который утром отсчитывал шаги:

— Пять тысяч семьсот семь, пять тысяч семьсот восемь, пять тысяч семьсот девять... Добрый вечер... — Пять тысяч семьсот одиннадцать, пять тысяч семьсот...

И на этот раз человек прошел мимо Заала, не дожидаясь ответа на приветствие, которое произнес в ритме счета, в такт шагам. Заал задумчиво поглядел вслед странному типу и зашел в свою комнату.

Спать не хотелось. Лег и, включив настольную лампу, принялся за «Гаргантюа и Пантагрюэля».

И снова насладился «мягкостью и теплотой» грузинского языка, а острое обоняние художника с удовольствием впитывало запах свежей типографской краски. Для него этот запах был так же желанен и отраден, как запах теплого домашнего хлеба для усталого кахетинца, пришедшего вечером с виноградника.

Скоро появился Нико. Он прошел прямо в лоджию, взял там два яблока и пошел в ванную мыть их.

— Наказание, а не отдых, — слышался из ванной его раздраженный голос. — В таком большом доме нет воды! Пустят на час утром и вечером, и устраивайся, как знаешь! Успеешь умыться, прекрасно, а нет, смочи два пальца и протри глаза... Не люблю есть чистые яблоки, железо в кожуре.

— Если тебе не хватает железа, то что говорить Иссык-кулю?! Ему весь руставский комбинат надо съесть.

— Зря ты так об этом Иссык-куле. Ты хоть раз пожимал ему руку?

— Пожимал.

— И не ощутил его силищу? Клещами стискивает пальцы! На, — Нико протянул Заалу очищенное яблоко.

— В графине есть вода, помой себе.

— Что ты за человек, не мог раньше запомнить?.. А фильм был дрянной. Сабир и Матевос до конца не досидели — не выдержали, генеральская дочка с Туриллабаем еще раньше сбежали, я рядом с Мышкой оказался и не удалось улизнуть, говорила и говорила, все о тебе спрашивала, интересовалась, почему «этот замечательный Заал» вот уже несколько дней не обращает на нее внимания.

Мышкой они прозвали одну москвичку, с маленькими черными глазками, несуразной внешностью: лицо крупное, полное, а тело невразное, тощее, через джемпер просчитывались ребра. Она с первых же дней прибилась к братьям по той причине, что ни с одной компанией, на которые обычно естественно разбиваются отдыхающие, не нашла — а возможно, с ней не нашли — общего языка. Особой симпатии к себе, хотя и не была уродиной, она не вызвала. А к братьям ее потянуло после того, как Заал сыграл с ней раз в бадминтон, а на пляже как-то составил два топчана, и они втроем резались в карты.

Этого оказалось достаточно, одинокая женщина всячески искала их общества.

— Пойди, поговори с ней. В вестибюле глаз с тебя не сводила, вертела головой вслед тебе, как подсолнечник за солнцем.

— О чем мне с ней говорить — о логарифмической таблице или о теории относительности Эйнштейна? Математику я и в школе не любил, а в бадминтон играть — погода не позволяет.

— Думаешь, если она математик, то и говорить с ней не о чем? Иди, перекинься словом, жаль ее.

— Ошибаешься, если думаешь, что я приехал сюда развлекать кого-то. Почему сам не пойдешь?

— Пойми, не я, а ты ей приглянулся.

— Оставь меня в покое.

— Как знаешь, а мне жаль ее... Не повезло нам с погодой: ни купаться, ни загорать. Сиди тут сиднем. Скоро ходить разучимся. — Нико прошел в лоджию, взял еще два яблока, вымыл одно и протянул Заалу.

— Не хочу...

Заал помолчал немного, потом повернулся к брату и, приподнявшись на локте, сказал:

— Слушай, Никала, давай осмотрим завтра остров, если дождь не усилится.

— Какой остров?

— Наш, вот этот, где мы отдыхаем.

— Это не остров, и даже не полуостров, всего только мыс, суша, выдававшаяся в море.

— Пусть мыс, давай осмотрим, встанем пораньше и сразу после завтрака пройдем по берегу в Пицунду, от туда вернемся автобусом.

— Хорошо. Пойду скажу Каруму, может, и он пойдет с нами, помешан на ходьбе.

Утром Заал набрал в ванну горячей воды, искупался и почувствовал такую легкость, словно смыл с себя все заботы о доме, о семье, донимавшие его ночью. А когда выглянул в окно, на душе окончательно просветлело — дождя не было, не было и тумана, воздух был совершенно прозрачен, и далекие горы, подступавшие к морю в Гагра, казались совсем рядом, словно кто-то всемогущий придвинул их к дому отдыха.

Среди зелени мандариновых садов, как проталины, выделялись сизо-серые вкрапления кукурузного жнивья, уже засыхавшего, сады сменялись лиловатыми виноградниками, на изумрудных холмах белели дома, словно грибы, взошедшие после дождя, на склонах гор до синевы зеленели покосы, выше тянулся, изгибаясь, темно-сиреневый хребет, а просторы меж сверкавшими снежной эмалью зубцами-вершинами усеивали белые, белее цветка магнолии, кудрявые облака.

Утренний холодок пробрал Заала, и он вернулся в комнату.

Застлал кровать.

Из коридора донеслись голоса. Он открыл дверь, выглянул. Неподалеку, шагах в десяти, Нико разговаривал с женщиной, ходившим вчера по коридору и считавшим шаги.

— ...Ерунда и горячая вода, и морские ванны!

— ...Мне сказали, что в Гагра. Первые дни было лень, не спешил, думал, впереди целый месяц, потом дожди зарядили, побоялся простыть, а теперь и времени нет, несколько дней осталось. Что я не перепробовал, к каким лекарствам не прибегал! Если б не съездил в прошлом году в Менджи, то сейчас, возможно, и ходить бы не мог!

— Говорю же, ерунда все это — и лекарства, и лечение. Двенадцать лет пролежал я, скрюченный ревматизмом, устал лечиться — санатории, знаменитые медики, все новые лекарства, — и никакого толку! Теперь я и на горячую воду плевал, даже голову мою холодной. Если угодно, научу, как вылечить себя. Достань кусок грубого полотна, вроде мешковины, длиной не меньше метра, разденься догола...

— Доброе утро, — подошел к ним Заал.

— Здравствуй! — ответил говоривший и продолжил: — Потом берешь это самое полотно и растираешься от затылка до пят.

— Мокрым?

— Нет, сухим. Пойдем покажу.

— Пошли с нами, — предложил Нико Заалу. — Мой брат Заал! А это — Карум, старый винодел, — представил он их друг другу.

Карум скрылся на минуту в ванной и предстал перед братьями в костюме Адама. Он был среднего роста, хорошо сложен, мускулистый — на груди и спине четко проступали мышцы. Весь он, поджарый, подтянутый, казался налитым силой, молодой энергией. Голова уверенно, прямо держалась на шее, а зубам, казалось, ничего не стоило разгрызть камень.

— Извиняться не стану. Что смущаться, женщин тут нет. Смотри, как это делается.

Он взял висевший у раковины узкий кусок полотна и начал растираться от затылка до пят.

— Вот так, пока не покраснеет кожа. Особенно старательно растирай там, где беспокоит, болит. После этого берешь другое полотно, помягче, — и, отложив грубое полотно, он взял другое, потоньше. — Мочишь в холодной воде, хорошенько отжимаешь и снова растираешься, особенно трешь больное место. Потом обсушись обычным полотенцем и оденься. Вот и все. Забудешь про все ишиасы. Кроме того, если хочешь быть здоровым, ходи пешком, много и энергично. В день километров десять, не меньше. Нас погубили машины, из-за них стали хилыми. Когда это раньше было столько больных сердцем?! Если уж человек заболел, то умирал, потому что врач был редкостью. А теперь никто без врача не обходится, даже когда никакой нужды в нем нет. — Карум оделся. — Извините, нечем угостить.

С фруктами мальчик управился. Есть отменное сухое вино.

Нико и Заал дружно отказались от вина.

— Давайте спустимся в столовую, батона Карум, позавтракаем, — предложил Заал. — А после завтрака последую вашему совету, хочу до Пицунды дойти по берегу.

— В Пицунду и я с удовольствием пошел бы, мне как раз на базар надо. Обождите, разбужу мальчика. — Карум вышел в комнату и тут же вернулся. — Успел уже смотаться. А я удивляюсь, как он долго в постели!

— Что за мальчик?

— Внук мой.

— Высокий, худой?

— Да.

— От занятий его оторвали?

— Я его ни от чего не отрывал. Выставили его из школы.

— За что?

— За то, что он чертово копыто! Ученикам велели принести в школу по ведру винограда, а он вместо винограда ведро картофеля понес.

— Нарочно?

— Кто его знает! Разве поймешь его?

— А как он учится?

— Так-сяк, по-всякому, ни по одному предмету особых успехов нет. А послушайте-ка его — разговаривает, как умудренный годами старец. Увязался за мной, пускай, говорит, ждуть, пока у меня созреет для них виноград! Четвертый день мы тут с ним, и уже извел. Нелух, никакого сладу нет, делает что вздумается. Помешался на этом чертовом автомате, все деньги спустил.

— Вероятно, и сейчас там, играет. Пошли, Никала.

Заал пообещал Сулейману-заде и Зарембе отвезти их в Лидзаву за мандаринами после обеда. В путь пустились вчетвером — Заал с братом и Карум с внуком.

Мальчик брел сзади. Подбирал плоские камешки и запускал в море, считая, сколько раз подскочат на воде. Море чуть зыбилось, и когда резвая волна окатывала ему ступни, он проворно отпрыгивал в сторону.

Сначала шли энергично, но постепенно шагать по влажному песку и камешкам становилось тяжело. Ка-

рум все же старался выдержать привычный ему темп и не укорачивал шага.

— После сорока жизнь человека катится по наклонной, и спасение его в ходьбе. Ходьба лучше всякой охоты и путешествия на колесах. У нас множество исторических памятников, множество прекрасных мест, есть что осмотреть.

— О какой охоте вы говорите, батано Карум? Дичь мы извели, всю истребили без разбору, старательно, до того дошли, что писатели выступили в газете со статьей «Почему не поет дрозд?» Что касается путешествия, так оно радости не доставляет, причин много и одна из главных, по-моему, заброшенность, неухоженность замечательных памятников. Порадует вас, скажем, вид древнего монастыря св. Шио в верховьях Руиспири? А он всего в километре от деревни! А ведь он построен в VI—VII веке, в нем замечательные настенные росписи, эти фрески до сих пор не изучены. Этот памятник нашей древней культуры — показатель нашей нынешней культуры: крыша обвалилась, фрески поблекли, местами краски размыты. Сколько у нас таких заброшенных памятников! Красивые места требуют присмотра, ухода...

— Безалаберный мы народ. Да и забыли, что надо ценить, позабыли о наших добрых обычаях! Молодые не почитают старших, не считаются с их опытом, с тем, что передавалось от поколения к поколению. Вот рядом он, желторотый, не оперился еще, а кого слушается? Ничего ему в голову не вобьешь.—Карум вдруг резко остановился, чем-то расстроенный. Остановились и братья, озадаченные его видом.

— Да, сказывается все-таки возраст, — Карум огорченно покачал головой.

— Ничего, не беспокойтесь, у меня достаточно денег, всем троим хватит, — сказал Нико.

— Да я не из-за денег... Половину пути прошли и... Голова садовая...

— Что такое, батано Карум? Что случилось? — заинтересовался Заал.

— Шаги не считал! Увлёкся разговором и забыл, не знаю, сколько прошел. Тьфу, черт! Состарился, вижу, памяти нет. Сколько раз просил сына, отца этого паршивца, привезти из Москвы шагомер. Всякий раз

уверяет, что не достал. Отличная вещь! Включаешь и идешь себе, а он подсчитывает: тик-тик, тик-тик, ни одного шага не пропустит. Если ты уже немолод, в день километров десять надо пройти, непременно бодрым шагом.

— В дождь и в ветер?

— И в дождь и в ветер. Ни одного дня не пропустить. Дашь себе раз поблажку, обленишься—все полетит к черту. Когда я приехал, дожди начались, а я все равно ходил, неважно, что в помещении. Коридор на нашем этаже длиной в сорок девять с половиной шагов. Полшага не в счет. Сто сорок раз пройдешь из конца в конец — и вот тебе пять километров. Утром хожу и вечером.

— Мне кажется, батано Карум, что десять километров в закрытом помещении нельзя приравнять к десяти километрам на открытом воздухе.

— Вы правы, но не это главное. Важно — не меньше десяти, а больше — не беда. Измерил свой шаг, он равен семидесяти двум сантиметрам.

— Не у всех же одинаковые шаги?

— Конечно, каждый должен рассчитать свой шаг.

— Вот именно... И тебе, дед, тоже не мешало рассчитать свой шаг! Скажу ясней: каждый должен сначала рассчитать, обдумать шаг, а потом уже сделать его.

— Посмотрите-ка на этого паршивца, философствовать вздумал! Что ты имеешь в виду?

— Как же скоро ты все забыл! Не помнишь, кто отобрал у тебя марани, что сам построил? В твоём марани теперь заправляют твои «братья», «друзья», те самые, которых ты призвал на помощь. Незаметно все прибрали к рукам, а тебя выпроводили на пенсию. Работать все равно заставляют тебя, а сами наживаются на вине. А ты считай шаги, считай... — мальчик выговаривал деду совсем по-взрослому, присев неподалеку на корточки и собирая пестрые камушки.

— Выходит, при тебе слова молвить нельзя! Сразу критикуешь! — Карум, нагнувшись, схватил выброшенный морем обломок палки: — Ты куда, храбрец, не убегай! Из-за твоего языка и выставили тебя из школы!

Нико рассмеялся.

Заал задумчиво смотрел на отбежавшего мальчика.

Солнце поднялось над сосновой рощей и заливало

золотистым светом сушу и море. Потеплело, от влажного песка и гальки шел пар.

Заал обернулся, озирая берег за собой — на пляж высыпали отдыхающие. Много дней потеряли они из-за ненастной погоды, не загорали, не купались и теперь старались наверстать упущенное, поймать каждый ласковый луч солнца.

— Дитя он еще, придет час — войдет в разум. Почему мы забываем, что и сами были детьми, — сказал Заал, обращаясь к Каруму, который угрюмо глядел вслед внуку.

— Дитя! Нашел сосунка! Он такое выдает иной раз, что у меня челюсть отвисает. И с годами твоими не посчитается, плевать ему на все!

— Ничего не попишешь, батано Карум. Молодое поколение сильно отличается от нас, век атома и телевизора изменил все нравственные понятия, взрастил поколение с новыми представлениями о ценностях. Развитие психологических и моральных норм не поспевает за развитием техники. А наше поколение не понимает кое в чем молодых и потому недовольно ими.

— Пропади он пропадом со своими нормами и понятиями!.. Как же я забыл считать! Сколько, по-вашему, метров отсюда до нашего дома?

— Думаю, два-три километра.

По сердитому лицу Карума расползлась укоризненная улыбка.

— Я имею в виду сантиметры, а ты о километрах говоришь!

— Не расстраивайся, батано Карум, махни рукой на этот день, а завтра прямо от порога комнаты начнем считать.

Карум швырнул обломок палки в море и зашагал своим твердым, точно отмеренным шагом.

Ушедший вперед мальчик остановился на краю рощи, восхищенно рассматривая корни сосны. И действительно было чем восхититься. От трех пней к морю параллельно тянулись три корня, в метре друг от друга. Вокруг низеньких, почти вровень с землей пней, благодаря траве сохранялась почва, а дальше, ближе к воде, корни были оголены и повисали — хлеставшие берег волны вымывали из-под них песок и гальку. Почти у самой воды корни неожиданно скрывались в песке, и

казалось, что это огромные сказочные «многоноги», выбравшись на сушу и побродив в роще, возвращаются в море.

Заал тоже не смог скрыть своего восхищения.

— Нравится? — спросил он мальчика, подойдя к нему.

— Да, красиво.

— Ты не рисуешь?

— Рисую иногда.

— А это смог бы изобразить?

— Нет, трудно.

— Тебя действительно выгнали из школы?

— Наврал я дома. На море хотел поехать.

— А когда родители узнают правду?

— Узнали уже, наверно.

— Что же будешь делать?

— Ничего. Вернусь и пойду в школу, если опять не пристанут со своим виноградом.

— В самом деле отнес картофель?

— Да.

— Но они же просили виноград?

— Вы думаете, в Телави у каждого дома — виноградник или виноградная аллея? У нас ни того, ни другого.

— Насколько я знаю, телавцы и картофель не сажают возле дома.

— Картошку нам дядя привез из Тетрицклеби. Что нашлось, то и понес. Не воровать же. Двое из класса забрались в чей-то виноградник в деревне Вардисубани и попались. Хозяин виноградника отлупцевал их и в сельсовет потащил. Ребята расплакались, объяснили, что в школе обязали принести по ведру винограда, а где им взять его? Пожалел тогда их, отпустил.

— Воровать, конечно, не следует. Ты правильно поступил, но почему просто, прямо не сказал, что у вас нет винограда, незачем было картошку тащить.

— Я избрал метод наглядности, — рассмеялся мальчик.

Прошли еще с полкилометра и натолкнулись на преграду: от рощи к морю тянулись густые заросли ежевики, терна, кислицы и невесть еще чего. Заросли пересекали пляж узкой, но непролазной полосой.

Наши путники обошли заросли у самой воды и увидели вдали скульптурную композицию «Медея».

На пляже какой-то отдыхающий складывал на песке из белых камешков: «Москва».

Карум поздоровался с ним и поинтересовался, как вода, не очень ли холодная. Человек сказал, что вода нормальная.

— Нашел, кого спрашивать! Москвичу такая вода кипятком кажется. Опустит руку в воду — обжигает, ледяная она, — Нико обтер мокрую руку о брюки.

— А вон и корпуса Пицунды!

— Не очень-то далеко от нас. Сколько до причала, как по-вашему, батона Карум?

— На глаз трудно сказать. Завтра определим. Оставлю этого паршивца дома, и никто не собьет меня ни с толку, ни со счета.

— А если не останется?

— Еще как останется! Наменяю сейчас деньги на пятнадцатикопеечные монеты, пусть играет.

С базара они так же пешком вернулись в дом отдыха.

Сулейман-заде и Заремба нетерпеливо дожидались их во дворе.

— Где вы пропадали?! — скульптор недовольно склонил гривастую голову, исподлобья глядя на Заала.

— Мы искупаться успели. Ну что, едем в Лидзаву? Слово есть слово... Вера сейчас спустится, переоденется только.

— Иссык-куль искал тебя. Ты обещал ему посмотреть работу, — добавил Сулейман-заде.

— Да, некрасиво получилось... Ничего, если рано вернемся из Лидзавы, загляну к нему.

Из Лидзавы они вернулись только к ужину.

Заал поставил машину между пальмами.

— С удовольствием запер бы вас тут, чтоб никто больше не узнал о поездке на базар, но боюсь вместе с Верой и машину похитят. Выпускаю с одним условием — никому не проговоритесь, что я возил вас за мандаринами.

Однако на другое утро, не успел Заал отправиться в «путешествие», как путь ему преградили три грации. Одна из них, Лера, кокетливо тряхнула головой, отбрасывая прекрасные русые кудряшки, и спросила:

— Почему вы решили, дорогой Заал, что мы, севе-
ряне, не любим мандарины?

— Из чего вы сделали подобное заключение?
попытался улыбнуться Заал.

— Из вашего вчерашнего поступка! Тихонько ули-
зули в Лидзаву, заметить никто не успел!

— К фанфарам и литаврам слабости не имею, а
скрывать не скрывал. Попросили повезти, я и повез.

— А если теперь мы попросим? Правда, мы не
столь очаровательны, как Вера, куда нам до нее, но...

— Что вы, что вы! Не будь вас — конец бы искус-
ству!

И договорились — после обеда съездят за мандари-
нами.

Утро было ветреное. Солнце, правда, проглядыва-
ло сквозь просветы, но берега не согревало. Море раз-
волновалось. Рыболовы сидели на почтительном рас-
стоянии от воды. Отдыхающие затащили лежаки в зар-
осли камыша, укрываясь от ветра и холода.

Заал шел и считал вместе с Карумом, и до того
втянулся, что не заметил, как они подступили к пре-
граждавшим путь зарослям. От Дома отдыха до зарос-
лей оказалось четыре тысячи шестьсот семьдесят один
шаг.

— Пометим это место? — спросил Ника.

— Зачем? Не запомнишь кусты?

На пляже за зарослями они не обнаружили вчераш-
ней надписи из белых камешков, видимо, ее смыло вол-
нами. Но подалее от воды двое мужчин успели выло-
жить слова «Москва и Омск».

— Молодцы, тихое выбрали место. Давайте и мы
напишем что-нибудь.

— Тебя тоже, вроде них, из дальней дали занесло
сюда?

— Вам делать нечего? Пошли, а то собьюсь со
счета.

Все трое зашагали дальше.

В полдень они вернулись домой и подсчитали прой-
денные шаги — оказалось двенадцать тысяч триста
одиннадцать.

— Плохо, и десяти километров нет, всего восемь
тысяч восемьсот шестьдесят три метра и девяносто два
сантиметра! До десяти километров не хватает одной ты-

сячи ста тридцати шести метров и восьми сантиметров, — с ошеломляющей скоростью подсчитал Карум. — Ничего, вечером наберем. И вчера мы не добрали, очень, очень обидно. Попробую и вчерашнюю потерю наверстать сегодня.

На следующее утро у Заала сильно болели мышцы ног.

— С непривычки, вероятно, — пояснил он брату, успокаивая себя.

— Машина отучила тебя ногами пользоваться, не шутка — два дня проходить. Ничего, привыкнешь, перестанет болеть. В первое время всегда болит.

В этот день мальчик снова увязался за ними.

— Что, спустил все монеты? — изумился Карум.

— Нет, еще остались, — он побренчал в кармане мелочью.

— Чего тогда тащишься за нами?! Ступай играть.

— Ни за кем я не тащусь. У вас свой путь, у меня свой.

— Не гоните его, батоно Карум, пусть идет, он нам не мешает.

— Черт с тобой, иди! Да придержи свой язык, уж слишком распустил его.

— Я и так придерживаю, не то давно разгласил бы все твои дела.

— Слышите?! Говорил же вам, испортит нам прогулку негодник. Только попробуй следовать за мной!

— И не думаю следовать за тобой, предпочитаю твердую почву вдоль роши.

— А он не дурак, паршивец! У нас ноги вязнут в песке и мышцы напрягаются, потому и разболелись у тебя ноги, Заал. Но ничего, привыкнешь, легче будет. Может, лучше меня станешь ходить.

— Все машина виновата. Машиномания погубит всех, самая распространенная болезнь нашего столетия после рака, а скоро, возможно, выйдет на первое место.

— Судя по тебе, так и есть, Заал. Как это тебя угораздило приехать на машине, отдыхать же ехал?!

— Сглупил, конечно. Гаража нет, и по этой причине тоже. Машина во дворе без присмотра искушает угонщиков.

— Тебя, я вижу, в таксиста превратили, бесплат-

ного таксиста. Кого сегодня везешь в Лидзаву за мандаринами?

— Никого... Точка, никого больше не повезу.

— Э-э, старая песня, не впервые слышу. Раз есть машина, просят и будут просить, а ты не откажешь.

— Так-то оно так, батона Карум. Теперь Олифантэ взял за глотку, хочешь не хочешь вези его в Сочи.

— Сколько дней осталось отдыхать?

— Четыре.

— Забудь машину на эти четыре дня, никого нигде не вози. Десять километров в день сделают тебя человеком.

Мальчик, как и в прошлый раз, задержался у корней-«многоногов». Стоял, придерживая поднятый воротник плаща и подставив спину ветру. А ветер усиливался.

— В горах снег выпал, оттого и похолодало внезапно.

— Ветер с моря, рано снегу выпадать...

— И купанию конец.

— Смотря для кого, вон, глянь, купаются возле зарослей.

Действительно, у зарослей то появлялись, то скрывались в волнах два человека.

— А море разошлось! До кустов добираются волны! Надо разуться, не обойти иначе.

— Возле роши наверняка есть проход через заросли. Тропинка, по которой идет мальчик, как раз туда и ведет, по-моему.

Обойдя заросли, они увидели еще двух отдыхающих. Один собирал камни у самого прибоя, другой таскал их к опушке, подальше от воды, там было повыше, а двое других складывали из них буквы.

— Как разбушевало море! До середины пляжа добралось, смыло вчерашнюю надпись.

— Если камни уложить в землю поглубже и оградить их булыжниками, то волны не смоют их. Отец мой говаривал: человек человеку даже осла привязать поможет! Давайте поможем им, а? — предложил Карум и разулся.

Братья энтузиазма не проявили, правда, несколько камней они поднесли.

— Все, что создано на земле, создано упорством, желанием, волей. Давайте внесем свою лепту в это дело и посмотрим, на что способно море!

«Что построено братством, не разрушит вражда», — тихо пропел Карум, «возводя» вокруг надписи ограду из крупного булыжника.

— Чего стоишь, негодник, иди, помогай!

— Нашел себе занятие, дед?! Все, спасен мир!

— Видите какой, все ему готовенькое подай. Попробуй-ка еще пойти со мной!

— На кой мне ходить с тобой, тебе самому от себя ни пользы, ни толку. Дали б волю, я и один отлично сумею ходить.

— С чертями тебе ходить, чертово отродье! Бездельник! Никала, возьми у человека камень.

Нико взял булыжник у того, кто собирал камни.

— А он местный, абхаз. Чувствуется, что на море вырос.

— Все береговые жители на море растут, — заметил Карум, укладывая в ограду последний камень.

«Писавшие» с улыбкой пожали руку нежданым помощникам.

Карум отошел подальше от «коллективного творения», взглянул на него со стороны. «Москва. Омск. Магадан», — было выведено внутри ограды.

— Надо было сразу оградить булыжниками! Теперь море ни черта не сделает! — Карум обулся. — Все. Шагаем дальше.

Отдыхающие еще раз поблагодарили помощников, пригласили приехать к ним, заверяя, что они тоже гостеприимны.

В дом отдыха вернулись к обеду. Олифантэ рвал и метал, разорвать готов был Заала.

— Так-то ты повез меня в Сочи?! Весь день из-за тебя потерял! Чего не сидится тут?!

— Эх, Олифантэ! Лучше бы я повез тебя в Сочи! Ноги — не мои! Никогда не думал, что ходить по песку так тяжело.

С невероятным усилием доковылял Заал до своего места в столовой. Теперь у него не только икры болели, но и ступни. Боль в левой ноге была понятна — пятнадцать лет назад он вывихнул ступню, на ходу соско-

чив с троллейбуса, у щиколотки по сей день темнело пятно.

— Поделом тебе, когда поумнеешь?

— Не злись, Олифантэ, в другой раз поедем.

После ужина, дождавшись горячей воды, Заал принял душ и лег в постель. Лежал и со страхом ждал, что зайдет Иссык-куль, но тот, вероятно, задетый невниманием Заала, навязываться не стал.

Боль не проходила. Заснул, не веря, что утром сумеет стать на ноги.

Едва рассвело, зашел Нико.

— Извелся Карум, почему не встаешь? Поднимайся, ждут тебя твои десять километров.

Как ни мучительно было ступать, пришлось спуститься в столовую. После завтрака он сел в машину, чтобы отвезти ее на дневную стоянку, и, нажав на педаль, понял, нет сил, устал безмерно.

Усталость объяснил опять-таки непривычкой к ходьбе и направился к пляжу, где его дожидался Карум с внуком. Мальчик держался в стороне, у камышей, застыв, как пойнтер в стойке.

Заал на всякий случай спросил с надеждой:

— Не перенести ли нам сегодняшней марафон?

— Нет, пропустишь раз, потеряешь форму. Ну, марш вперед!

Мрачное, отягченное влагой небо нависло над водой и сушей. Всклоченные тучи грозно ползли над морем, почти касаясь его. Море клокотало, грохотало — казалось, рвалось смуть весь мир. На пляж налетали легионы гигантских волн, хлестали его до самых камышей. Валы вздымались утесами, оглушительно обрушиваясь на берег и, шумно откатываясь, сталкивались с настигавшими их другими волнами и взлетали брызгами. Море гнало на берег все новые полчища волн, они неслись иступленно и неумолимо.

С муками давался Заалу каждый шаг. Превозмогая себя, шел он мимо белоснежных пенистых шлейфов волн, не видя их и не замечая.

Вдоль берега тянулась роща, огражденная проволокой. Мальчик нашел лазейку и очутился в сосновой роще.

Заал тупо шагал по мокрой мелкой гальке. Снача-

ла при каждом шаге казалось, что сухожилия рвутся, ступни переламываются, но постепенно он притерпелся к боли, и она вроде бы притупилась.

— Сколько вам лет, батона Карум? — поинтересовался он.

Карум обернулся.

— Семьдесят шесть, — ответил он и тут только обнаружил, что мальчик исчез.

Удивленный Заал отвел взгляд от крепкого затылка Карума и поискал глазами мальчика.

— Зачем пролез туда, негодник! — разозлился Карум.

Мальчик бегал по хвое, подбирая красивые шишки.

— Не слышишь?! Мамука!

— Чего тебе, дед? И ты рвешься сюда? Лаз для тебя закрыт, а перемахнуть — не в том возрасте, ушли твои годы.

— Рощу не оградили б проволокой, если б хотели, чтоб в нее заходили!

— А я куда хочу — туда и вхожу!

— Роща государственная! Затем и оградили ее, чтобы остолопы, вроде тебя, не топтали ее.

— Все на земле — для человека. И роща моя, и море, и небо!

— Бестолочь! Для тебя, как же! Сейчас же вылезай, пока не схватили и не вытащили за ухо!

— За ухо тащат того, кто к этому приучен, а я свое ухо никому не подставляю!

— Слыхал?! Опять лягнул, негодник! Ну, будет, вылезай, видишь, ни тропинки там, ни следов — не ходят люди по роще.

— По тропинке сами еле плететесь, мешаєте друг другу, а тут просторно. Подумаешь, ни тропинки, ни следов! Пройду я и оставлю следы, появится тропинка.

— Хватит, хватит пререкаться! — вмешался Нико. — Вылезай со своей добычей, уноси ноги, пока за шиворот не вытащили, а то заодно с ушами шишки потеряешь!

Мальчик не вылез и не ответил, видимо, счел излишним.

— Ну и упрямец! Говорят, он весь в одного нашего

предка, в Крцанисском сражении¹ лазутчиком был, нарвался на персов в засаде и заорал своим — спасайтесь, я сам с ними расправлюсь! Коня под ним копытами проткнули, упал он и мечом стал разить врагов, а когда и меч сломался, вытащил из-за пояса плетку и крушил персов, пока его самого не убили...

У зарослей они поневоле остановились.

— Смотрите, куда доходят волны! Впервые вижу такое море, — заметил Нико, обходя заросли.

— Смотрите! Говорил я вам: что строят все вместе, всем братством, не сотрут ни море, ни ветер! Гляньте! — Карум указал на надпись.

Повыше пляжа, у края роши, по-прежнему красовались, сверкая белизной, окаймленные белыми же камнями слова: «Москва. Омск. Магадан».

Наконец они вышли на набережную. Как будто легче стало идти, но когда они оказались у автобусной остановки, Заал вдруг вспомнил, что забыл закрыть кран, а если воду пустят раньше обычного, то к их возвращению комната будет затоплена.

Нико, понимая, в каком состоянии брат, сказал Каруму:

— Пусть скорее едет, как бы из-за него не стряслась беда.

— Не теряй времени... — искренне посоветовал Карум, не подозревая, как он близок к истине.

И Заал втащил в автобус одеревеневшие ноги.

Три дня пролежал он в постели.

Три дня Нико носил ему из столовой на девятый этаж завтрак, обед и ужин.

Три дня в его комнату стекались отдыхающие навестить, посочувствовать...

Лишь на четвертое утро сумел он доплестись до двери и выглянуть в коридор.

— Тысяча пятьсот семь, тысяча пятьсот восемь, тысяча пятьсот девять... Здравствуй, как ты?.. Тысяча пятьсот двенадцать...

Карум шел по коридору своим походным шагом, прямой, подтянутый. И Заал сообразил: на дворе — дождь.

¹ Имеется в виду сражение грузин с полчищами Ага-Мухаммед-хана.

Шел последний день отдыха.

Завтра утром им с братом уезжать, неужели придется ехать под дождем?

Заал потрогал ступни — боль терпима, сухожилия, кажется, в порядке. Ноги еще болели, правда, но не настолько, чтоб не суметь вести машину.

«И пусть идет дождь, — подумал Заал. — Даже приятно».

Итак, еще день отдыха.

А через день — снова большой город, снова шум и сутолока.

Если и в Тбилиси идет дождь, зальет его мастерскую.

Заал пересек коридор, выглянул в окно.

Дождь лил ливня.

Перевод Элисо ДЖАЛИАШВИЛИ

ХРОНИКА

ГАСТРОЛИ ГРУЗИНСКОГО ПЕВЦА ВО ФРАНЦИИ

«Мы с нетерпением ждем возможности наконец услышать в заглавной партии «Бориса Годунова» молодого баса из Грузии Паату Бурчуладзе, который во всем мире стал настоящим открытием», — так писала газета «Котидьен де Пари», предваряя гастроли в Парижской опере народного артиста Грузинской ССР, солиста Тбилисского оперного театра имени З. Палиашвили.

Певец из Советской Грузии не разочаровал любителей оперной музыки французской столицы. Его исполнение за-

главной партии в опере М. Мусоргского «Борис Годунов» стало одним из наиболее заметных событий в нынешнем лирическом сезоне в Париже.

«Идеальным басом» назвал П. Бурчуладзе критик столичной «Фигаро». Грузинский певец сдержан, весьма удачно порывает с традиционными для этой оперы постановочными эксцессами, считает газета, а главное — он безупречно поет свою партию. Хороша и постановка оперы.

Помимо участия в спектаклях, П. Бурчуладзе дал соль-ные концерты в Бордо и Париже, на которых исполнил произведения русских композиторов.

ВНИЗ И ВВЕРХ

Слева на взгорке виднеется наш дом. Он стоит на отшибе, на краю большого леса; словно только что выбрался из-под деревьев и остановился, с высоты глядя в ущелье. Толпящиеся за спиной дубы простирают над ним свои ветви, летом укрывающие от зноя, а осенью роняющие на крышу спелые желуди. Так и слышу, как они торопливо сбегают по черепице и прыгают вниз. Дом старый, ему без малого сто лет. От леса он отгорожен каменным заплотом, поросшим терновником и гра-натов. В нижнем этаже стоит маленькая рассохшаяся давяльня, пустуют зарытые в землю кувшины для вина, в обгоревшем камине на спускающейся из дымохода цепи висит закопченный котелок. В глубине у стены пылится крестьянская утварь: оплетенные бутылки зеленоватого стекла с вплавленными в них песчинками и пузырьками воздуха, глиняные сковородки с обломанными краями, на расшатанном столе стоят горшки и кастрюли всех размеров. У щелястой двери на вбитом в косяк гвозде висит поношенная одежда.

На верхний этаж ведет каменная лестница без перил; с годами ступени стерлись под грузом шагов; между ними и там проросла трава. Резные балясины ажурной веранды местами прогнили и выпали.

А в комнатах с низкими потолками пахнет сухими травами и лампадным маслом. На окнах висят занавески ручной работы; в сумрачной зале, на старинном столе для игры в нарды стоит музыкальная шкатулка. На стенах увеличенные фотографии в черных рамках. Это

мои предки. Сколько раз ночами я просыпался и смотрел в поскрипывающий потолок, потревоженный чьим-то незримым присутствием. Старый дом переполнен прошлым...

Медленно и осторожно сдвигаю камень с колодца памяти: он полон семейных преданий, смутных догадок и прозрений, подсказанных памятью крови. Вглядываюсь в гулкую черноту: там все перемешалось—смерть, любовь, рождение; сырой холодок распада перебивается запахом младенца, кисло-сладким, как молочная отрыжка...

В сумерках прошлого что-то сверкает осколком солнечного дня на дне колодца: наш дом еще молод и крепок, половицы его не скрипят, матицы легко несут гнет обильных январских снегов, и черепица кровли цела и не обомшела. Хозяин дома тоже молод и крепок, и еще не женат: не замечая напора свах, укоров замужних сестер и намеков братьев, он вкалывает по хозяйству: расширяет виноградник, сажает фруктовые деревья, сбывает излишки вина—в осетинских селах меняет его на сыр и пшеницу, а в Нижней Имеретии торгует то оптом, то в розлив на ярмарках и воскресных базарах.

В одной из поездок, заночевав в деревеньке неподалеку от Самтредиа, в гостеприимном крестьянском доме он встретил...

Даже укрошенной инсультom фантазии хватило бы на то, чтобы придумать старомодно милый эпизод встречи деда с бабушкой—речь именно о них. Что ни говори, минута для меня значительная: без этой встречи меня просто не было бы на свете. Но придумывать ничего не надо (беллетристические бубенчики смолкают, не успев забренчать); моя задача—припомнить семейное предание, скудеющее от поколения к поколению...

Итак, доподлинно, в конце февраля дедушка отвез в Самтредиа две бочки вина, продал его оптовику Силибистро Чкадуа, но опоздал к поезду и торчать бы ему всю ночь на станции среди сомнительного люда, шнырявшего по портам восточного черноморья, если б судьба не распорядилась иначе—неподалеку от железной дороги, между прокопченными купеческими складами он столкнулся с неким Ипполитэ Чантладзе; этот Ипполитэ работал у виноторговца Чкадуа грузчиком, мойщиком тары, а также дегустатором, а посему каждый

вечер возвращался домой исполненный щемящей грусти и сильных, хоть и неопределенных порывов. Он узнал дедушку, сграбастал его и даже всхлипнул от приливов чувств.

— Никак опоздал, Онисе?

— Опоздал, что б твоего хозяина псы заели!

— Хозяина не трогай, — Ипполитэ отстранился от дедушки и засмеялся. — Если б не он, мне такого гостя не заполучить.

— Кто гость? Я? К себе, что ли, зовешь?

— А то здесь оставлю, этим на поживу, — он махнул рукой в сторону станции. — Пошли, Онисе. Все равно до утра поезда не будет.

Какое-то время они шли пешком по темным улочкам. Впереди послышался цокот копыт; показался фаэтон с фонарем возле козел. Дедушка остановил его.

— Ты теперь, крепкий парень, да? — усаживаясь, крихтел Ипполитэ. — При деньгах, пешком не можешь. Я же каждый день пешком. Пока дотопаю — в норме. А нынче девки мои... дочери хихикать станут: папочка выпил... Знаешь, сколько у меня дочерей? Одну в тот год выдал, три на руках. Не видать ихнему папочке света белого, не дожить до внуков, если за них жизнь не отдаст... Я при них не зазывала, нет, я — сторож. Пес лютый с ружьем и кинжалом. Такие девки! Эй, Жора! — крикнул он извозчику и, привстав, ткнул его в спину. — Не узнал меня, разиня? Я — Ипполитэ Чантладзе. А это мой гость. Ехай в Дапнари!

Фаэтон катился по темным улочкам широко раскинувшегося местечка. Под провисшим тентом попахивало клеенкой и конским потом, и гулко отдавался смягченный грунтовой дорогой цокот копыт. Свернутые в трубочку деньги распирали застегнутый на булавку карман. Разговорчивый спутник время от времени затягивал песню. В стеклянном футляре фонаря, украшенного кисточками и бахромой, недвижно стояло розоватое пламя. По сторонам на придорожных взлобках белели цветущие деревья. Между облаками мерцали звезды. А над Колхидской низменностью во всю ширь тянул западный ветер, тугой, мягкий и влажный, пахнущий морем и неосушенными еще топями.

А потом был домишко в глубине двора — на высоких сваях, под тесовой крышей, с его духом веселой бедности, не замечающей ни тесноты, ни сырого холода, не обращающей внимания на эти мелочи, такие ничтожные по сравнению с радостью встречи, с праздником знакомства, всем обрядом гостевания и проводов, всегда одинаковым и неизменно новым; ведь гости так разнообразны, в особенности дальние, как этот худой мужчина в длинном пальто и в калошах; чего стоит хотя бы его говор с уморительной, как бы вопрошающей интонацией и непонятными словечками — еще приснешь не к месту, боже упаси, лучше не вслушиваться... И были в том доме дочери Ипполитэ — молодые смешливые девы: подвыпивший Ипполитэ призывал их к себе и, сняв со стены чонгури, требовал песен, а разгулявшись, отбивал на стуле плясовую и громко выкрикивал: «таш-туш, таш-туш!»; дочери пели приятно и складно, незаметно перемигиваясь, а одна из них даже встала и, отворачивая раскрасневшееся личико, несколько раз прошлась в танце; при этом Ипполитэ пинал гостя в бок, норовя вытолкнуть из-за стола, но гость только хлопал в ладоши и улыбался; была в доме сладкоречивая хозяйка, с имеретинскими извинениями собравшая мужчинам ужин: «Вы уж не обессудьте, мы по-простому, по-крестьянски, лобио, сыр и кукурузная лепешка — но от всего сердца!» — с этими словами лукавого покаяния на стол ставились стопки хачапури, маринады в мисках, домашние сладости и удивительное вино — душистое, нежное и чуть шершавое; на заинтересованный взгляд дедушки, пригубившего стакан, Ипполитэ с горделивой улыбкой ответил, что это «изабелла», смешанная с «чхавери»... И была еще в доме племянница хозяйки, сирота, взятая в дом из милости... Как бы лучше ее разглядеть в суতোлке застолья! Она не пела и не плясала с двоюродными сестрами: она хлопотала, помогая хозяйке — ломала хворост и рубила дрова для очага, мыла тарелки и переливала вино, подавала и убирала, стоя наготове у двери, как прислуга, однако в ее услужливости не было ни тени принуждения — только доброта и приветливость, только готовность и радость от того, что она что-то делает для близких и дорогих ей людей. Эта-то девушка — племянница и сирота, покори-

ла случайного гостя и вскоре стала ему женой и матерью его детей, от которых в свой черед родились дети... По одной из версий семейного предания настоятельность, с какой Ипполитэ Чантладзе зазывал к себе дедушку, объяснялась его положением, наличием в доме трех незамужних дочерей, младшей из которых минуло двадцать. По этой версии даже задержка дедушки в Самтредиа и опоздание на поезд было организовано отчаявшимся отцом — якобы, он упросил своего хозяина Силибистро Чкадуа под любым предлогом задержать неженатого винодела до отхода поезда, а уж дальнейшее, дескать, я беру на себя, он из моего дома холостым не уйдет...

Внешне казалось бы события укладываются в эту версию, подтверждают ее. Таким образом в истории женитьбы дедушки проступает классическая ситуация: предприимчивый отец, сладкоречивая мать, скрывающая за показным гостеприимством хитрые планы; сестры-белоручки, песнями и танцами пытающиеся привлечь гостя, и главная героиня — падчерица-замарашка (в нашем случае племянница-сирота), не смеющая помышлять о соперничестве с сестрами, но в силу бесценных своих качеств одерживающая верх.

Думаю, что возникновение этой версии в немалой степени спровоцировано ее близостью к обкатанной фольклорной ситуации. Однако дедушка, непосредственный участник событий, никогда не поддерживал ее, уверяя, что дело было не совсем так, и даже совсем не так.

Собственно, дедушка не отрицал, что Ипполитэ Чантладзе не прочь был выдать за него одну из дочерей и, может быть, в фаэтоне по дороге к дому разок другой мысленно подумал об этой возможности. Но безопасности и лихости в нем было гораздо больше, чем хитрости и деловой хватки, а потому думал он примерно так: «Ох и кутнем мы сегодня! Ох-хо-хооо!.. А вдруг ему одна из дочек приглянется?..» Примерно так же отличались от фольклорных мотивы поведения сестер и хозяйки: сестры пели и плясали под чонгури не для гостя, а только бы не ослушаться отца — во хмелю он был драчлив; а сладкоречивая хозяйка (опять же в силу характера) одинаково щедро потчевала гостей в до-

ме молодых холостяков, старых двоеженцев и монахов давших обет безбрачия. Такая несуразная и в высшей степени славная семья!

Что же до сироты-племянницы, то она менее всего укладывается в классический сюжет: отнюдь не замарашка, крупная, статная, белокожая, светловолосая и светлоглазая, в светлом опрятном платье она выделялась в полутемной комнате, словно какой-то другой источник света, кроме закопченной лампы, освещая ее всюду. Поначалу гость думал, что это замужняя дочь Ипполитэ, о которой тот обмолвился в дороге, настолько развиты были ее формы и женственна стать, но когда разок, перегнувшись через его плечо, она потянулась к столу за тарелкой, он увидел совсем близко лицо столь юное, точнее даже детское, что оторопело обернулся к Ипполитэ. Не раз еще в этот поздний февральский вечер нежное, детски-округлое личико приближалось к нему — без смущения и жеманства, просто и открыто, как лицо сестры или дочери, и светлые лучистые глаза, обрамленные густыми, словно бы выгоревшими ресницами, смотрели на него со спокойной приветливостью и легкой насмешкой, причем насмешка эта относилась не к нему, а ко всем остальным, ко всему, что не соответствовало, не понимало важности этой минуты в их жизни.

Разумеется, в тот февральский вечер Ипполитэ пил за здоровье гостя, и в своем тосте в качестве ближайшей жизненной задачи определил ему женитьбу; он пожелал выбрать достойную спутницу жизни — кроткую и преданную, здоровую и работающую, при этом в качестве образца без ложной скромности назвал свою сладкоречивую половину. Видимо, это была последняя попытка подтолкнуть гостя в нужном направлении, намек на то, что если где и можно найти совокупность перечисленных качеств, то скорее всего в дочерях образцовой супруги и матери, а они — вот, перед тобой, выбирай любую... Так что Ипполитэ не только определял первоочередную задачу, но и предлагал ее простейшее решение. Дедушка, благодаря, кивал в ответ, однако, очевидно, не понимал намека, ибо взгляд его все чаще задерживался на хлопчущей вокруг стола светлоглазой

девушке, племяннице и сироте, как ему казалось, полнее дочерей олицетворявшей восхваляемые качества.

В ту ночь было немало выпито, но гость (которого смещая хронологию, я заблаговременно величаю дедушкой) долго не мог уснуть. Ему мешало странное волнение: думаю, нечто подобное испытывает земледелец, обнаруживший на бесплодном участке признаки подземных вод, ключ, способный преобразить все; ему не терпится убедиться, что он не ошибся, увидеть, как хлынет вода и напоит потрескавшуюся землю, и вместе с тем боязно — вдруг приметы окажутся ложными...

Дедушка прожил долгую жизнь, и у него было время убедиться, что судьба по великой милости даровала ему удивительный источник, поистине животворящий ключ, без которого невзгоды иссушили бы дотла его землю, маленький участок, что он возделывал в поте лица. Из того же источника черпали силу мы все — многочисленные потомки и бесчисленная родня статной светлоглазой девушки, и до последних ее дней, до тихого конца, до полного иссякания в муках болезни источник этот оставался незамутненным и чистым.

В ту ночь дедушка не раздеваясь лежал на жесткой тахте и под замысловатый храп хозяина дома поглядывал на окно: странный отсвет падал со двора в комнату, казалось, там выпал снег. Только когда забрело утро, он увидел, что под окном возле дома цвела алыча. Успокоенный, он закрыл глаза и задремал.

Затем наступило утро.

Это единственное место в семейном предании, озадачивающее меня, предлагающее психологическую загадку, которую я не в состоянии решить убедительно и без натяжки.

Дело в том, что утром дедушка уехал. Уехал, не дожидаясь хозяина дома, торопливо поблагодарив хозяйку; на лестнице он столкнулся с племянницей, несущей горячий самовар, и только молча кивнул ей — он спешил.

Так быстро, как это было возможно в те времена, он вернулся в деревню, поднялся домой, стянул на крыльце заляпанные грязью галоши и башмаки и прошел в комнатку к сестре Тасико. В комнате пахло мож-

жевательником и лампадным маслом. Сестра Тасико, закутанная в толстую шаль, сидела у швейной машины.

«Как ты себя чувствуешь?» — спросил дедушка.

«Слава богу! — ответила сестра. — Что-нибудь случилось?»

«Ты можешь поехать со мной?»

«Куда?»

«В Дапнари. Это совсем близко около Самтредиа».

«А что случилось?»

«Мне нужен твой совет...»

Вот тут-то и схоронена загадка: зачем понадобилось дедушке везти в Дапнари младшую сестру и спрашивать у нее совета? Человек поступка, он редко мучился сомнениями и нерешительностью, в особенности после смерти родителей, когда забота о семье легла на его плечи и ему пришлось самостоятельно решать все вопросы.

О сестре дедушки — бабушке Анастасии (по-домашнему Тасико), я знаю только, что она была болезненная и очень набожная. После замужества старшей сестры она дала обет безбрачия (это совпадение кажется мне неслучайным) и прожила жизнь монашкой в миру. По просьбе Тасико дедушка привез ей из Кутаиси швейную машину со складным столом и ножным приводом, на которой она научилась шить мережки, дорожки и узорные вставки, причем достигла в этом ремесле высокого совершенства. Вышитые ею покрывала, скатерти и салфетки можно было увидеть чуть ли не по всей Западной Грузии. Немало их сохранилось и в нашем доме, и хотя они порядком пообтрепались, в болезненно тонкой паутине узоров видны вкус и душевная хрупкость, свойства, которым одна настойчиво повторяемая деталь придает характер несколько экстатический: в центр всех композиций, а также каждого кружевного медальона заключен крест, ставший как бы опознавательным знаком ее работ, ее клеймом. Лучшие работы — ажурные, легкие как воздух накидки были подарены деревенской церкви, но, к сожалению, они не сохранились. В деревне к Тасико относились со смешанным чувством почтения и жалости — то ли святая, то ли юродивая, но считали провидицей и в трудные минуты жизни спрашивали совета.

Обдумывая непонятный поступок бабушки, одно время я склонялся к мысли, что и он решил воспользоваться удивительным даром сестры. Но если Тасико была для меня частью семейного предания, легендой, оставившей по себе недолговечный, истлевающий на глазах след, то бабушку я знал во плоти. Не думаю, чтобы этот реалист до мозга костей верил в какие-либо предсказания. Скорее он и здесь преследовал практическую цель — участием в смотринах надеялся разбудить в сестре уснувшую женственность, встряхнуть ее и вернуть интерес к жизни.

Впрочем, это рассуждение не намного убедительнее отвергнутого; поступок бабушки так и остался для меня непонятным, загадочным, и я утешаюсь тем, что в этой-то загадочности заключена его привлекательность.

В выдуманной истории легко избежать подобных затруднений — в конце концов, можно обойти молчанием события, подоплека которых не ясна. Но как быть с действительными событиями, когда доподлинно известно, что бабушка повез свою набожную сестрицу на смотрины в Самтредиа и там показал ей выходящих из церкви дочерей и племянницу Ипполитэ Чантладзе. Сестра с первого взгляда распознала суженую брата (что, к слову сказать, подтверждает ее репутацию) и долго с грустной улыбкой смотрела ей вслед.

«Женись на ней, братец, — вздохнула она, когда девицы скрылись из виду. — Женись, не медли. Она как голубка...»

Почему они были уверены, что для женитьбы достаточно желания бабушки? Неужели только потому, что невеста была сирота и бесприданница?

Я все твержу: «бабушка, бабушка», а между тем, судя по фотографии, сделанной в Кутаиси в год женитьбы, он был тогда молод и очень хорош собой: продолговатое лицо, мягко струящаяся бородка, выющиеся волосы, крупный прямой нос, брови вразлет и открытый, несколько грустный взгляд широко поставленных светлых глаз; прибавить сюда рост, жилистость и силу, сохранившиеся до глубокой старости, и можно понять, почему брат с сестрой верили в успех...

Через неделю они обвенчались.

Ах, если бы после этого можно было сказать: «И жили они долго и счастливо!».

В ту же весну был забрит в солдаты и отправлен на фронт в далекую Манчжурию младший брат дедушки — двадцатилетний Леван. Оттуда он уже не вернулся.

Через четыре года после получения известия о гибели Левана в несколько дней сгорел в жару скоротечной скарлатины их первенец, крещенный в честь погибшего брата Леваном: его могилка на деревенском кладбище отмечена махоньким надгробным камнем, похожим на ларец, сделавшийся с годами мягким от мхов...

А еще пять лет спустя началась первая мировая война: к этому времени меньшому из трех братьев Александру исполнилось двадцать и дедушка решил любой ценой уберечь поскребыша от мобилизации. Опытные люди присоветовали ему лекаря — то ли медика, то ли знахаря, какими-то отварами вызывающего у рекрутов кратковременное заболевание, упадок сил, а после прохождения комиссии быстро ставившего их на ноги. Здоровьем Александр оказался кремень, дозы «снадобий» пришлось удвоить, а затем утроить, в результате он был освобожден от воинской службы, но поставить его на ноги не удалось — меньше, чем за год полный сил молодец истаял, угас и дедушка сам закрыл ему глаза, не в силах вынести застывшего в них удивления и укора.

Смерть Александра потрясла его: он опустил ся, забросил хозяйство, даже нуждающийся в уходе, еще не окрепший новый виноградник — детище умершего брата, в первое лето остался невозделанным. Его не могли развлечь бегавшие по дому детишки, не смогла утешить истовая в своей вере сестра Тасико; он запил и, пьяный, плакал и винил себя в смерти брата...

Дом наш пошатнулся и затрещал, как от подземного толчка, и рухнуть бы ему, подминая под себя неокрепшую семью, если бы его кров не подпирала матица удивительной прочности — молодая бабушка Мариам. Ее противостояние судьбе не было стоическим; мягкая и жалостливая, она держалась силой любви: обремененная многочисленным семейством, заботливо ухаживала за умирающим деверем; она и после смерти Александра пеклась о нем — поминала, молилась, справляла сороковины, годовщины и все обрядовые дни, причем без болезненной экзальтации Тасико, а сосредоточенно-ласково и житейски просто, думая и говоря о нем, как о боль-

ном или временно отсутствующем, с просветленной улыбкой на милом лице, до последних лет сохранившем луч озорства и веселья.

Не успело время притупить новую боль, как далеко на севере, у берегов Финского залива грянул гром такой силы, что его раскаты отозвались в нашей деревне.

Воспользовавшись смутой, Грузия отделилась от империи. Она праздновала независимость—вся страна превратилась как бы в одно ликующее застолье.

Когда опьянение от глотка свободы стало проходить, увидели — в морских портах и на железнодорожных станциях появились серо-зеленые немцы в тяжелых сапогах; их сменили англичане и французы в крагах и беретках: Европу волновала судьба чиатурского марганца, однако подавалось это как защита национальных интересов древнего государства с самобытной культурой.

Под этим же предлогом в самом начале двадцать первого года, в сочельник, дедушку увели в Зестафони, вырядили там в желтую куртку английского производства и дали в руки английский карабин, однако командир полка, в который его зачислили (наш сосед и знакомый дедушки полковник Джорджадзе) объяснил ему обстановку: мобилизация населения бессмысленна, грузинская гвардия не в силах противостоять движущимся с востока большевикам; единственное, что она еще в состоянии сделать — это помешать туркам вступить в Батум... «Из двух зол мы выбираем меньшее. А когда все будет кончено, на пароходах отчалим в Европу. Но тебе-то это зачем, Онисе? Возвращайся-ка домой...»

Дедушка вернулся на четвертый или на пятый день. В старости они с бабушкой никак не могли вспомнить точно, сколько дней он отсутствовал и, стало быть, служил в меньшевистской гвардии; бабушка уверяла, что пять, дедушка — что четыре, и у каждого были свои доводы и метки. Он вернулся в обтрепанной чохе, одолженной у родни в Симонети, но куртка, туго свернутая и стянутая тесемками, лежала в мешке: «Кожа очень хорошая!» — оправдывался дедушка и в доказательство мял жесткий воротник.

(Эта куртка дожила до наших дней, и я не развле-

зал в нее, отправляясь дождливым предзимним вечером за невернувшейся из стада коровой).

От последующих лет в памяти осталось тягостное ощущение неуверенности и ожидания — страх раскулачивания. Особенно тягостным было то, что дедушка не знал за собой вины и все-таки боялся. После шести месяцев кропотливой работы в винограднике, если счастье улыбалось виноградарям и лето выпадало не дождливое и не слишком сухое, он собирал неплохой урожай (на нашей высоте лоза не слишком щедра); под его надзором виноград превращался в вино, с давних лет завоевавшее признание в наших краях, вино приносило некоторый доход — естественное следствие радения и неутомимости. Теперь получалось, что в этой цепочке есть фальшивое звено. Но какое? У дедушки были данные для осмысления экономической стороны вопроса, но как он ни крутил эту задачу, с какого боку не подступал к ней, получалась чушь: чтобы угодить новой власти, надо разориться. А чтобы разориться, надо облениться и разучиться работать. А вот лениться-то он и не умел...

Все это тянулось так долго, что его сыновья Тариэл и Алекси подросли и их любимым развлечением стал довольно жестокий розыгрыш: вырядившись в неизвестно где раздобытые кителя, напялив на головы полотняные кепки и слегка подгримировавшись, с облезлыми портфелями в руках они изображали представителей уездной власти, прибывших для описи имущества и выселения «злостного кулака» Онисе Капанадзе. Обычно «интермедия» разыгрывалась вечером, в летних сумерках, когда трудно было опознать шутников, топтавшихся в конце просторного двора по ту сторону частокола и покрикивавших оттуда деланными басками. Розыгрыш этот повторялся не раз, и не два, при каждой новой кампании раскулачивания, и когда к нему, наконец, по привычке и перестали пугаться, вдруг заявили настоящие представители губкома и местного комитета бедноты. И неизвестно, чем бы кончился этот визит и лозу какой морозоустойчивости пришлось бы выводить дедушке (ведь он не мыслил жизни без виноградника), если бы председателем комбеда в тот год не оказался наш маленький турок Латиф.

Об отуреченных грузинах мы слышали не раз; их про-

давали феодалы и угоняли янычары; а вот Латиф был большой редкостью — огрузинившимся турком: дедушка встретил его в деревеньке неподалеку от Аспиндзы. Латиф с молодой женой и новорожденным ребенком ютились в землянке, и его жилистые натруженные руки с негнушимися от мозолей пальцами, руки землекопа, лесоруба и каменщика, изнывали в бездействии — в голодающей Месхетии не было работы. Уж не знаю, как дед с Латифом распознали друг друга и столкнувались, но факт остается фактом — погрузив наличное имущество на ослицу, они вместе тронулись в путь и через неделю добрались до нашей деревни.

Дедушка поселил Латифа с женой Фирюзой в нижнем этаже нашего дома, дал ему одежду, посуду, постель и, что самое главное, дал работу. Юридически их отношения следует рассматривать как отношения хозяина и работника; обычно Латиф, обращаясь к дедушке, так и называл его — хозяин, причем пользовался именно этим русским словом, правда, сильно отуречивая его — «хазэин». Но из его рассказов (Латиф жив, и для своих лет поразительно крепок и работоспособен), а также из моих детских воспоминаний я пришел к выводу, что их отношения не укладывались в классическую социальную схему: во-первых, дедушка работал не меньше Латифа, работал рядом с ним, многому его научил, в частности виноградарству, пчеловодству, садоводству и даже запрещенному аллахом виноделию; во-вторых, как только Латиф освоился в нашей деревне, дедушка помог ему отселиться и обосноваться отдельно, посодействовав в постройке глинобитной пятистенки, со временем разросшейся в двухэтажный кирпичный дом; в-третьих, они с бабушкой крестили все многочисленное потомство турецкой четы, проявившей в этом вопросе не только религиозную терпимость, но и широту взглядов — ведь потомству предстояло жить на новом месте, в новом окружении.

Словом, в давний летний вечер, когда легкомысленные интермедии юнцов чуть было не обернулись трагедией, маленький турок Латиф заступился за «хазэина» и отстоял его, ибо знал, что оба они работники на земле, может быть, последние из этого вымирающего племени. Деда не стали выселять, только конфисковали

кое-какую живность да вдвое урезали участок — отоб-
рали вошедший в силу «виноградник Александра».

Затем жизнь, вздыбленная и развороченная даже на обочинах, стала понемногу утрясаться, наступило за-
тишье, прямо-таки идиллические времена. После тревог
и утрат у дедушки с бабушкой появились приятные за-
боты; одна за другой вышли замуж дочери, то есть
моя мать и тетушка Ольга, от дочерей в свой черед на-
родились внуки, и первым среди них был я — единствен-
ный сын средней дочери Анико, «бедняжки Анико», как
называет ее семейное предание.

От идиллических времен в семейном альбоме
сохранилась идиллическая фотография: семья собра-
лась на лужайке перед домом: в центре снимка дедуш-
ка — он прилег на траву, опершись на локоть, грызет
травинку и в упор требовательно смотрит в объектив;
позади него, вполоборота к аппарату сидит бабушка,
еще молодая и полная сил, на ее миловидном лице иг-
рает знакомая улыбка, насмешливая и легкомысленная;
рядом с бабушкой — старшая дочь тетя Ольга; с детства
склонная к полноте, она кажется ее сестрой, а не до-
черью. У ног деда, преданно глядя на него и потому
получившись в профиль, руки за спину стоит тетя Ив-
лита. В глубине снимка, под домом, служащим фоном,
можно разглядеть две тесно сдвинутые стриженные го-
ловы — это братья, Тариэл и Алекси, их озорные, весело
осклабленные физиономии выражают радость по поводу
происходящего. А по другую сторону от дедушки стоят
моя мать с отцом. У мамы на руках малыш — это
я; я прислонился лбом к материнской щеке, обнял ее за
шею и, совсем как дед, в упор уставился в аппарат. Ма-
мино лицо почти не видно на снимке, она отверну-
лась ко мне и, судя по ямочке на щеке и весело сощу-
ренному глазу, шепчет что-то смешное. Отец — на голо-
ву выше мамы, прическа с пробором, руки в карманы,
с шутливым укором и затаенной гордостью косится на
нее.

О своих родителях я знаю не так уж много.

Моя мать Анико, средняя из трех сестер — на два
года младше Ольги и на пять старше Ивлиты, была
любимицей Анастасии. Это свидетельство семейного
предания озадачивает, ибо то же предание рассказыва-
ет о бесконечных проделках Анико, потешавшейся над

религиозностью своей тетушки: то, опередив направляющуюся в церковь старуху, она пряталась в пустовавшем алтаре за иконостасом и ангельским голоском откликалась на ее молитвы, то, пробравшись к ней в комнату, зажигала свечу у иконы, которую наутро собиралась почтить истовая богомолка. (Кстати, много позже она вдохновляла братьев на инсценировки раскулачивания Онисе Капанадзе и уморительно гримировала их под уездное начальство).

Отчаянно смелая Анико была коноводом в мальчишеских играх — прилипнув, как клещ, скакала на неоседланной лошади, любила стрелять из рогатки по птицам и умудрялась срывать плоды с макушки высоченной груши, гнувшей даже под тяжестью сойки. А однажды в ночь под Ивана Купала, переодевшись мальчишкой, она прыгнула через высоченный костер, от которого, заробев, отступали самые лихие юноши села. Эту историю до сих пор помнят в деревне — не моргнув глазом, двенадцатилетняя девчонка нарушила обычай, неписанный закон, ведь прыгать через священный костер позволялось только мужчинам.

Об Анико так и говорили долгие годы — «перемахнувшая через огонь», хотя скоро бесстрашная наездница и прыгунья превратилась в сдержанную благовоспитанную барышню; именно это старомодное слово подходит для определения происшедшей с ней метаморфозы, ее нового облика. И откуда это взялось! Походка, манеры, речь — воспитанница благородного пансиона, да и только. Даже верхнеимеретинскому выговору, обильно сдобренному словечками, она умудрялась придать интонацию светской беседы. Беседа — теперь это стало ее любимым времяпровождением: изящно усевшись на стуле и сложив на коленях тонкие красивые руки, она расспрашивала домашних об их делах и здоровье, словно не жила тут же, под одной крышей с ними, и сообщала им деревенские новости, интонацией выделяя на ходу придуманные небылицы.

Собственно, все это было игрой, выходкой незаурядной артистичной натуры, не находящей поприща. Ей не хватало слушателя, партнера по игре: сестры слушали, разинув рты от удивления и чуть ли не испуганно переглядываясь, мать, не отрываясь от дел, вполуха вни-

кала в бойкий ручеек ее речи и, смеясь, отмахивалась: «Ну, хватит, хватит, сорока! Займись делом...»

Дело! Делом был занят отец — простым, понятным и серьезным. И Анико не осмеливалась мешать ему. Она только с безмерным уважением и с какой-то робостью смотрела на него, когда он возвращался из виноградника, мыл руки, усталой шаркающей походкой шел по веранде и садился к столу: «Женщина, дай чего-нибудь, если есть!..» Она тут же вскакивала и бросалась к матери, чтобы помочь ей и — сама предупредительность — быстро и ловко приносила и ставила на столе еду, не забывая захватить и вилку, которую, впрочем, отец всегда отодвигал в сторону. Этот жест вызывал у нее улыбку умиления и любви и, не зная, как выбраться из захлестнувшей ее удушливой волны, она спрашивала: «Хотите вина, отец?», на что отец, усмешливо покосившись, кивал: «Хотим, хотим, сударыня».

Слушательницей, но не партнером по игре, могла быть тетушка Анастасия. На худой конец стоило бы и это. Но в комнате Анастасии, пропахшей можжевельником и лампадным маслом, у нее пропадала охота играть, ей вдруг делалось грустно-грустно и хотелось слушать унылый речитатив тетушки, эту непрерывную мерно текущую вязь из малопонятных слов, заставляющих вслушаться в себя и расслышать сквозь ветхие глаголы душу раздирающий страх и одиночество. В этой комнате даже в жаркие августовские дни стояла прохлада, и не было большей радости, чем, простыв до кончиков пальцев, выйти на пропеченную солнцем веранду, увидеть дышащее зноем пространство, деревья под ветром и курчавый виноградник на склоне — весь мир поднебесный, полный деятельной жизненной силы, и услышать молодой насмешливый голос матери: «Драсьти! С утра не виделась». Несмотря на безразличие Анико к религиозной жизни тетушки, та охотно прощала племяннице ее слабость, ибо видела в ней редкий дар бескорыстной доброты и «благодать Божию». Слова о благодати вызывали у матери недоверчивую улыбку и неопределенный жест — она то ли отмахивалась, то ли торпливо крестилась.

Потом появилось и поприще: в нижнем этаже дома поселилась турецкая чета; жена Латифа, шумная, крикливая Фирюза что ни год рожала, и Анико помогала ей,

нянчилась с детьми, мыла и обстирывала и шила для них на машинке тетушки Анастасии штаны и распашонки. А когда дети подросли, она принялась за их обучение и воспитание.

К этому времени характер и облик моей матери — «бедняжки Анико» претерпели еще одну метаморфозу: она стала молчаливая и работающая. Ей шел двадцать третий год и в ее глазах появилось выражение усталости и обманутого ожидания, словно, отшалив детство, отыграв девичьи игры и не дождавшись обещанных радостей, она приступила к труду жизни, серьезно и добросовестно, как ее отец. Видимо, тогда же «бедняжка Анико» определила свою будущую профессию — окончив педагогическое училище, она стала учительницей.

Много лет спустя старая Фирюза, гордившаяся своим многочисленным потомством, говорила мне:

«Что мой дети такой хороший вишли, твоя мама виноватая. Такой девичка била — ангелочек, сердце с чистого золота имела. А зачем рано умирала, да? Вон стерва Пистимея и сейчас живая, а Анико умерла. Зачем не смогла для тебя сестра родить — разве один хорошо тебе? Фирюза девять родила — ай, сагол! Если мой Латиф старался, двенадцать тоже родила бы!» — И смеясь беззубым ртом, шлепала меня по спине и добавляла что-то по-тюркски.

Мама... Мамочка. Бедняжка Анико! Семейное предание только так и поминает ее — бедняжка Анико...

Об отце я знаю и того меньше, поскольку, как только речь заходит о нем, предание делается взволнованным и невнятным.

Летом тридцать третьего года, когда дедушка с Латифом и сыновьями вкалывали в винограднике, в нашей деревне появились геологи. Сельсовет получил указание расквартировать их по домам. И вот подходит секретарь сельсовета Кето Бокучава к нашим воротам и зовет:

«Мариам! Тетушка Мариам! Выглянь на минутку! Посмотри, каких я тебе зятьев привела — лучших отобрала!»

«Что ты там несешь, балаболка Кето? Не стойте за воротами, заходите во двор!»

«Я бы вошла, да этим молодцам через вашу калитку не протиснуться. Ворота отворяй!»

«Великанов привела, что ли?»

«Я же говорю — отобрала...»

Сестры уже знали о геологах, ждали их расселения и по-разному прислушивались к голосам во дворе.

Шестнадцатилетняя Ивлита, не выдержав, бросилась к воротам, распахнула и испуганно попятилась: стоящие рядом с Кето мужчины и впрямь показались ей великанами, наверное оттого, что за плечами у них громоздились огромные рюкзаки.

«Хозяин дома? — спросила Кето и, кивая на геологов, сказала: «На их счет постановление есть, так что пусть Онисе не вздумает возражать».

«С каких пор мы гостей по постановлениям принимаем! — засмеялась бабушка Мариам, выходя навстречу и вытирая руки о передник: — Милости просим, добры молодцы! Сбрасывайте свои мешки; кто же вас так нагрузил? Скоро и хозяин придет...»

«Тетушка Мариам, в твоём доме мне за них нечего беспокоиться. — И, понизив голос, Кето добавила: — Этот ни бельмеса по-нашему не смыслит. Зато второй каков! Глянь! С тремя дочерьми за таким в шесть глаз смотреть».

«Ладно, Кето, будет тебе!»

«А что? Я по себе сужу. Потому сама и не взяла, от греха подальше...»

Один из геологов был русский, по имени Федя, другого звали Филипп Дзидзигури.

Филипп был сыном видного меньшевика Ясона Дзидзигури, погибшего во время событий двадцать четвертого года. Мать Филиппа ненамного пережила отца: малограмотная дочь таежного охотника-корейца (мой второй дедушка женился на ней, когда отбывал царскую ссылку в Сибири), оставшись без средств к существованию, вынуждена была наниматься на поденную работу — стирать, мыть лестницы и подъезды, ходить за больными. Непосильный труд подорвал здоровье маленькой корейки с прелестным, загадочно невозмутимым личиком, некогда поразившим громогласного весельчака-грузина — именно таким запомнился Ясон Дзидзигури всем, кто знал его по ссылке. Она пробовала лечиться отварами из целебных трав, собранных в дебрях Ботанического сада и на склонах горы Махата, но в щедром южном разнотравье ей не хватало родных, сибирских,

способных поддержать гаснущие силы. Да и росли ли они где-то? Была ли на свете Сибирь с ее тайгой и могучими реками?.. Все это осталось так далеко, что казалось нереальным. Реальными были двое худых испуганных детей — четырнадцатилетний сын и шестнадцатилетняя дочь: они могли уже и сами позаботиться о себе, но это-то и пугало — шумный крикливый город, снисходительный к человеческим слабостям, прямо-таки пучило от соблазнов!

Предчувствие матери оказалось вещим: еще при ее жизни дочь принесла домой свой первый заработок — прозрачные чулки, духи и деньги. Экзотическая внешность — унаследованная от матери раскосость и фарфоровая белизна лица зажигала в глазах мужчин жадный огонь. Мать знала это, и не в силах что-либо изменить, прикованная к постели, оплакивала свою дочь и молила провидение о чуде.

И чудо свершилось: заезжий музыкант, чуть ли не столичная знаменитость, влюбился в «юную Чио-Чио-Сан», как он лепетал, целуя ее ладошки и скулы, и увез в Москву. Правда, к этому времени дочь таежного охотника, надорвавшаяся на поденной работе, покоилась в чужой земле, вдали от родных мест, на старом Верийском кладбище, но, думается, даже там она почувствовала облегчение, когда молодожены пришли перед отъездом на ее могилу.

Пятнадцатилетний Филипп остался совсем один. Из отцовской родни кто уехал за границу, кто разделил судьбу отца. Неизвестно, как сложилась бы жизнь Филиппа, если бы сосед — одинокий старый геолог, знавший их семью, не приютил мальчика. Он вырвал Филиппа из грязных и цепких лап улицы, помог окончить школу и, обучив азам своей науки, устроил лаборантом. Добрый старик много дал своему воспитаннику, но и его доброте не по силам оказалось заполнить чувство сиротства, постоянную холодную пустоту, до того тяготившую юношу, что временами он готов был внять просьбам сестры, звавшей его в Москву, и переехать к ней. Но нет — он не мог простить сестре прошлого — ее и своего унижения, ревности, страха и бессилия тех дней, когда, готовый к убийству, носил при себе нож.

Вот ведь судьба: живут в деревне сестры, цветет июль над их горами, грозы с грохотом обрушивают на

землю озон и влагу, и жмуясь от ужаса при вспышках молний, сестры слушают гул потока в овраге; туча удаляется, погромыхая, а они все лежат, зажмурясь перед ними или в них самих затухают молнии и медленно стихает гроза.

В такое лето, в такой июль сестры влюбились в постояльца. Кто знает, стоил ли он их любви и не решила ли все нетерпеливая готовность женского сердца!

Блюдя объективность, семейное предание не отказывает постояльцу в своеобразной привлекательности: она заключалась в несоответствии мужественного облика с чрезмерной, на деревенский вкус, прямо-таки девичьей застенчивостью. «Ну, ровно барышня» — улыбалась бабушка, глядя ему вслед. А соседка Кето — соломенная вдова, не раз после расселения геологов навещавшаяся к нам, в сердцах окрестила его «персидской невестой». Несоответствие делало его лицо загадочно-дритягательным: взгляд черных, чуть раскосых глаз Филиппа был мягок и робок, тогда как невнятно очерченный рот, как бы слегка потрескавшийся от жара, со щеткой усов над губой и крепкими белыми зубами пугал своей вызывающей чувственностью.

Первой из сестер открылась маленькая Ивлита. Собственно, Ивлита была не такая уж маленькая: ей шел семнадцатый год и в противоположность старшим сестрам она не только не делала тайны из своей влюбленности, но, радостно-взволнованная, наперебой делилась с ними; каждое слово Филиппа, даже мимоходом брошенное при встрече, представлялось ей значительным и загадочным, его следовало истолковать, и она бежала к сестрам:

«Анико! Ольга! Утром он выходит и говорит: «Доброе утро, красавица! Как спалось?» Что он этим хотел сказать? Я ему нравлюсь, да?..»

Однажды она застала Филиппа у родника, когда тот обмывался под ледяной струей. Целый день после этого она помалкивала, мучимая противоречивыми желаниями — поделиться своим впечатлением и сохранить его в тайне. И только ночью, долго ворочаясь в постели, она, наконец, угомонилась, вытянулась и выдохнула в темноту:

«Сестрички! Видели бы вы, как он сложен! С ума бы не сойти!..»

Наутро она опять поспешила на родник, но еще с горки увидела выходящую из терновника Анико («бедняжку Анико»). При виде старшей сестры Филипп потянулся за переброшенной через ветку рубахой и поспешно надел ее, но Анико успела разглядеть его молодое, сильное, и вправду на диво красивое тело. Смущенно извинившись, она наполнила кувшин и пошла по тропинке к дому, недоуменно и испуганно прислушиваясь к сердцебиению — с детства нахоженная круча не вызвала такого. Филипп догнал ее на полпути к дому, подхватил кувшин с водой — схоронившаяся в терновнике Ивлита услышала их странные, изменившиеся голоса:

«Дайте, я помогу».

«Не беспокойтесь, Филипп, мы привычные. Да и кувшин нетяжелый».

«Давайте, давайте!.. Как вы тут зимой, по большому снегу? Или снег растапливаете?»

«Нет, к роднику ходим, в овраг».

«По такой круче?..»

Ивлита усмехнулась их строгим, серьезным лицам: вчера Филипп вел себя иначе — облил ее с головы до ног и даже силком окунул под воду; она хохотала — было весело; но сейчас почему-то смотрела на сестру с завистью и укором.

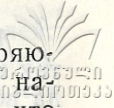
К достоинствам постояльца, особенно ценным в глазах дедушки, предание относит его мастеровитость и сноровку. Братьям Тариэлу и Алекси Филипп смастерил самострелы на зависть деревенским мальчишкам; невзлюбившей его Анастасии склеил и переплел обветшавшее «Евангелие»; дедушке починил запасной аппарат для опрыскивания виноградника, а бабушке запаял старый самовар и соорудил сеточку для чайника. А сестрам... О, всем сестрам по серьгам! Он и впрямь понаделал им украшений из ярких полудрагоценных камней, которыми набивал карманы возвратившийся из маршрута Федя.

В тот год мама окончила педагогическое училище и готовилась приступить к занятиям в деревенской школе-четырёхлетке. Школа помещалась в бывшей лавке: на окнах фанера, крыша течет, печурки чадят. Анико просила у правления хоть какой-нибудь помощи, но ей показывали пустую кассу и намекали на сложную международную обстановку. И тут — Филипп! За несколько

дней он преобразил школу: побелил стены, застеклил окна, развесил собственноручно нарисованные наглядные пособия — таблицы умножения и алфавиты, склеил разбитый глобус, а к зиме обещался починить печурки. Если он искал расположения молодой учительницы (а он безусловно искал его), у него не было пути короче и вернее.

Но главным подарком Филиппа был тайно собранный детекторный приемник: лет за двадцать до появления электричества в наших горах он вынес на веранду непонятное сооружение из железок и проволоки, подключил к батарейкам, и оно заговорило! Звук, пробивавшийся сквозь треск и хрипы, был слаб, как плач младенца в руках хохочущих дэвов; порой дэвы ворчливо умолкали, а младенец обретал голос и лопотал по-грузински.

Вечерами собирались на веранде, сидели за столом и слушали радио. Ближе к ночи, когда эфир освобождался от помех, Филиппу случалось поймать на своем приемнике музыку из Анкары и Стамбула. Настроившись, он снимал наушники и клал на середину стола — чтобы было слышнее. Керосиновая лампа тускло освещала сумерки. Тихо звучала музыка. Братья — Тариэл и Алекси, наперебой выхватывали наушники друг у друга, пока не сообразили, что можно слушать одновременно, каждому из своей мембраны. Иногда к ним присоединялась Ивлита. Анико тоже хотелось взять со стола этот пиликающий предмет и прижать к лицу, но не после сестры и братьев, а после Филиппа. Она стыдилась своего желания. Несколько вечеров готовилась «перемахнувшая через огонь», несколько вечеров распрашивала братьев, лучше ли им слышно, на что братья азартно протягивали ей наушники, несколько вечеров обещала себе, что в этот раз непременно возьмет первая.. И, наконец, решилась: невнятно, с плохо наигранным безразличием пролепетала заготовленную фразу: «Ну-ка, посмотрим...», потянулась, робея, как забитая падчерица, вся скованная стыдом и страхом и... Это оказалось больше, чем она ожидала. Она не слышала музыки, во всяком случае, не сразу ее расслышала. Она словно погрузила лицо в горячие ладони Филиппа, стиснувшие ее от висков до мочек и шеи, и в нее текли не звуки из дребезжащей мембранки (они-то и стали поме-



хой), а сухой жар. С трудом вырвав себя из растворяющего тепла, почти в обмороке, она торопливо сняла наушники и положила на стол и не сразу заметила, что Филипп тут же подобрал их. А заметив, радостно обмерла и потерянно отвернулась; долго смотрела во двор и, лишь уняв сбившееся дыхание, нерешительно обвела взглядом сидевших за столом: кажется, никто ничего не заметил. На следующий вечер все получилось проще — Филипп протянул ей снятые с головы наушники и, на мгновение встретившись с ним взглядом, Анико увидела в его глазах вопрос: так ли? И невольно, сама того не желая, ответила взглядом: да, так. После этого они каждый вечер хотя бы раз обменивались наушниками, передавая их из рук в руки, и нет сомнения, что это была ласка, страстная, головокружительная ласка, особенно упительная от холодящего привкуса стыда: ведь они ласкались у всех на глазах.

Тут семейное предание умолкает и после долгой и неловкой паузы сообщает, что ко времени свертывания геологической партии Анико была беременна. Голос предания звучит смущенно и глухо — можно догадаться, какое смятение вызвала в семье эта новость. Одна Ивлита может пролить свет на неразборчивые страницы, но блюдя семейную тайну, молчит и она, только раз оборонилась с завистью и болью:

«Она была как одержимая, Господи, что это был за кошмар!»

Сквозь завесу молчания, как через зарастающее наледью стекло, пытаюсь разглядеть лицо матери. Групповой идилический снимок из семейного альбома укрупняется до размеров живой картины, но на ней все то же: нежный стебель шеи, веселая ямочка на щеке, сощуренный в улыбке глаз. Обернись, мама! Обернись, хоть раз! Нет, не обернется, счастливая, радостная, заслоненная мной от меня...

С этой минуты я перестаю называть их по имени.

Когда геологи свернули палатки и уложили рюкзаки, отец взял расчет, расписался с мамой в сельсовете и, уступив настояниям Анастасии, обвенчался в церкви.

Анастасия предсказывала молодым несчастье; по словам провидицы, только венчание могло предотвратить беду. Увы, она ошиблась: венчание не спасло от несчастья, а лишь отдалило его. До сорок первого года.

Первыми призвали братьев — Тариэла и Алекси, так и не переступивших роковой для мужчин нашего рода возрастной черты. Но до фронта, до гибели в холодных волнах Черного моря (обоим выпало участие в первом керченском десанте — одной из трагических операций минувшей войны) братья проходили боевую подготовку — один под Сухуми, другой недалеко от Баку, и эта-то близость, мнимая досягаемость стала причиной раздора между дедушкой и бабушкой. Бабушка рвалась навестить сыновей; дедушка считал, что этого не следует делать — не для того мужчины идут на войну, чтобы матери ездили за ними с гостинцами...

Она впервые послушалась мужа, нагрузилась корзинами и пустились в путь; в переполненных поездах срок первого года колесила она по Кавказу, от моря и до моря; ни слова не понимая по-русски, разыскивала закрытые войсковые части — только бы обнять сыновей, накормить их виноградом из родного сада и домашними сладостями, привезенными в мешочке, сшитом на машинке Анастасии.

Как же ей не везло, бедняжке! К тому времени, когда она наконец добралась до места, оказалось, что воинская часть сменила дислокацию, и она возвращалась назад, обессиленная, тащила в гору, входила во двор и плакала, плакала, ибо чуяла сердцем, что ей не суждено больше увидеть своих сыновей.

С годами я понял, что наивная, не допускающая сомнений вера бабушки в бога объяснялась просто — бог обещал ей встречу с сыновьями. И она терпеливо ждала ее. Много лет спустя, умирая в тбилисской клинике, бабушка не мешала врачам, терпела все, что с ней делали, но в душе радовалась тщете их усилий. «Скоро помру, — говорила она с виноватой и слабой улыбкой, словно извиняясь за свою радость, неуместную при усилиях спасти ее. — Теперь уже скоро...»

Вслед за братьями осенью сорок первого ушел на фронт мой отец — Филипп Дзидзигури. От него долго не было вестей, а пришедшее наконец письмо со штемпелем далекого сибирского городка, где отец лежал в госпитале, поспело к сороковинам.

Мама умерла родами. Несмотря на настояния и даже требования опытного врача, привезенного из Кутаиси, она отказалась прервать сложную и мучительную

беременность. Не подействовали и уговоры родителей: мама во что бы то ни стало хотела выносить и родить ребенка, зачатого от ушедшего на фронт мужа. Ей казалось, что жизнь отца, каждую минуту висящая на волоске (под бомбами и пулями), каким-то образом зависит от зародившейся в ней, и своим терпением, мужеством и решимостью готова была спасти обе жизни. Но в этой схватке духа и плоти верх взяла физиология, слепая природа — роды оказались не только долгими и тяжелыми, но и неудачными (ребенок — девочка — родился мертвый). Обессиленная, истекающая кровью, мама мучилась тревогой за отца и необъяснимым чувством вины перед ним, в последние дни перешедшим в бред. Так она и угасла с материнской рукой в холодеющих руках, под всхлипывания сестры Ивлиты и молитвы тетушки Анастасии, не доходящие до ее сознания, шуршащие над ней, как дождь в соломе. Потом дождь смолк.

Вместе с бабушкой и несколькими соседками Ивлита понесла письмо на могилу сестры, чтобы там вслух прочитать его умершей.

Женщины сперва поплакали над свежим, не успевшим осесть холмиком, убрали гнутые прутья венков и сгнившие цветы; затем Ивлита развернула треугольник солдатского письма и, с трудом сдерживая слезы, нараспев стала читать. Ее чтение сопровождал речитатив плакальщиц, время от времени при упоминании кого-нибудь из родни всплескивавший горестными восклицаниями: «Горе тебе, несчастная! Горе тебе!». Сквозь слезы, застилавшие глаза, Ивлита с трудом разбирала слова письма и не вникала в их смысл и потому не сразу заметила, что плакальщицы примолкли и насторожились, прислушиваясь. Она сбилась, огляделась, увидела потупленное лицо матери, словно очнувшись, вернулась к письму и уже не растягивая слов, все торопливее, скороговоркой дочитала до конца. Если ее не обманывало зрение, Филипп писал умершей сестре (убитой сестре — как тут же пронзило Ивлиту), что он полюбил другую женщину, девчонку-санитарку, ходившую за ним в госпитале, и просил дать ему свободу... Тут Ивлита рухнула на могилу сестры и, раздирая в клочья солдатское письмо, забилась в истерику:

«Дай ему свободу, Анико! Освободи его, сестра! Вот твоя свобода, подонок! — она била кулаком по сле-

жавшейся земле и, швыряя комья, выкрикивала: — На, подавись! Подохни там, где ты есть!»

«Будет, Ивлита, будет! — бабушка трясла ее за плечи, пытаясь поднять. — Нехорошо так, человек на фронте».

«Не на фронте он, мама, а в блудилище, кобель грязный! Братья мои на фронте, да убитая им сестра во сырой земле, а он с девками тешится, кобель!..»

Года через два после войны отец попытался забрать меня и с этой целью приехал в деревню.

Визит бывшего зятя вызвал в доме некоторое замешательство. Отец явился в офицерской форме, в португее и при орденах (уж не для того ли, чтобы замаскировать свою неизбывную нерешительность и застенчивость), но несмотря на регалии, дедушка разговаривал с ним в беседке и туда же велел бабушке принести бутылку вина. Бабушка оставила мужчин: она сидела на кухне у камина, уронив на колени усталые щедрые руки, смотрела в огонь и смаргивала слезы. В комнате Анастасии у окна с прозрачными в крестах занавесками стояла Ивлита и не отрывала глаз от бывшего зятя.

Выпив единственный тост — поминальный — за усопшую и за погибших братьев, отец взял меня за руку и повел на кладбище.

Во время войны было не до надгробий и бабушка высадила на могиле гортензии. Они разрослись, заполнив всю ограду, перекипая через нее голубой пеной, свешивая за прутья дивно-нежные, холодновато-женственные шары соцветий. При виде цветов хмурое лицо отца, удрученного разговором с дедушкой, дрогнуло, выражение горечи и досады медленно сошло с него. Он удивленно обернулся ко мне, и, как бы ища ответа, нетерпеливо ожидая подтверждения, воскликнул: «Они похожи на твою мать! Ты видишь, как они похожи на твою мать?»

Довольно долго дорога ползла лесом. Зеленый сумрак тут и там пробивало яркими вспышками солнца; его серебряные снопы то длинно протягивались сквозь чащу, то гасли, отсеченные листвой. Пахло сыростью и прелью. Тишину нарушал тягучий скрип арбы, схожий со скрипом ворот на ржавых петлях, да вылетая из подлеска, трещала потревоженная сорока.

Лес кончился сразу: сбросив тень дубов и каштанов, арба выкатилась в сушь и солнце, и передо мной открылась Большая зеленая долина. Право, она не могла быть ни зеленей, ни больше! Все пространство впереди точно задернули тяжелым бархатно-зеленым пологом в мягких складках; постепенно полог обрел перспективу; это горы, плавно и округло перетекая друг в друга, громоздились до неба и закрывали горизонт. А иллюзию замкнутого пространства создавал глубокий и ровный зеленый цвет, совершенно одинаковый от колес арбы до дальней вершины. находка для живописца: зеленый гобелен, пейзаж без глубины, в который однако мы основательно углубились и, обогнув пологий склон, я увидел белое приземистое строение фермы и разбредшееся вокруг стадо. Здесь оптический обман выражался еще сильнее: коровы были разбросаны по зеленой плоскости, как на детском рисунке: одни из них паслись высоко над фермой, другие ступали почти по крыше и, казалось, прямо из крыши выщипывали траву, третьи бодали ферму сбоку или подпирали ее крестцом, а самые нижние, пасущиеся в двадцати шагах от дороги, недоуменно оглядывались на моего вола и мычали.

С фермы навстречу вышел глухонемой Эстатэ, бошой, в гимнастерке без пояса и в неизменных солдатских своих галифе. Он так прозывался — «глухонемой Эстатэ», хотя в сущности был сильно туг на ухо и страшно заикался; при известном навыке с ним можно было объясниться. Таким Эстатэ вернулся с фронта. Контузия поразила самое слабое и уязвимое в нем — голову; в остальном его железный организм не пострадал и остался воплощением здоровья и силы: Эстатэ не знал, что такое хворь; даже зубная боль была ему неизвестна; ел за двоих, пил за троих и работал за пятерых — тем и славился по округе. От той же чрезмерности происходила всем известная слабость Эстатэ — женолюбие. При виде женщины его свекольнокрасная физиономия с белесыми ресницами расплывалась в умильной бесконтрольной улыбке. Позабыв все тревоги и заботы, сбросив все житейское, он останавливался как вкопанный и, глядя вслед, восхищенно мотал головой и цокал языком, и если рядом оказывался кто-нибудь, искренне пытался поделиться своим восхищением, но от прилива чувств не мог выговорить ни слова — так заикался. В соседней

деревне у него была зазноба — боевая, скандальная вдова: снежными зимами, когда по полдня приходилось торить тропку до хлева, он, утопая в сугробах, переклеивая через гору и пар курился над ним, как над гейзером или самогонным аппаратом.

Сейчас этот «гейзер» бежал от фермы к упряжке и я еще издали понял, что он чем-то взволнован. Не здороваясь и не глядя на привезенные из деревни посылки, он махал рукой в сторону гор и пытался что-то сказать. Я подумал было, что с гор в долину спустились волки; хоть после военных зим их здесь не видели, да и время для волков не подходящее, но все бывает; иначе, с чего ему так пучить зенки и запинаться. Но тут, наконец, он кое-как вытолкнул из себя с лающим подвывом:

— Там ба-а, ба-а, ба-а, ба-бы, бабы, бабы... Мно-мно-о-о—мно-ого-много-много...—Когда ему удавалось сложить слово, он повторял его раз пять кряду.

— Привет! — сказал я и засмеялся. — Всюду тебе бабы мерещатся, Эстатэ. Я думал волки.

Но он теребил меня за рукав футболки и, растопырив три пальца, пытался сложить новую фразу. Его лицо, грудь в распахнутом вороте гимнастерки и мускулистые руки, торчащие из закатанных рукавов, были красны какой-то особой краснотой — казалось, она происходит не от загара и не от природного цвета кожи, а от опасного прилива крови, чрезмерного полнокровия, усугубленного пристрастием к красному вину. Казалось, он только что вынырнул из бочки с саперави и, обсохнув под солнцем, натянул галифе и гимнастерку.

— Забирай это и отнеси на ферму, — прокричал я ему в ухо, сложив у его ног посланные из деревни мешочки и свертки.

Но он возмущенно и с негодованием отмахнулся от меня и, одолев-таки что-то внутри, пролаял:

— Три-и, тр-и, три — машины, три машины, три машины.

— Ну вот теперь еще машины... — я повернулся к арбе, однако он остановил меня, железной хваткой вцепившись в плечо и нещадно тыча себе пальцами в глаза, промычал:

— Са-а-ам, са-ам, са-ам ви-и-дел, — и скороговоркой несколько раз: — Сам видел, сам видел... — белесые брови на багровом лице ходили ходуном. — Три маши-

ны, — продолжал он. — Ко-ко-которые в платьях, а которые... в шта-а-а, в шта-а-а, шта-анах, штанах, штанах, — для ясности он подергал свои галифе.

— Да ну тебя! — я высвободил плечо. — Совсем спятил, Эстатэ!

Он все тыкал себя пальцами в глаза и колотил кулаком в грудь.

— Кля-кля-кля-нуусь, са-ам видел, сам видел!

— Вот не поленюсь, — сказал я, влезая на арбу, — съезжу к твоей душеньке и скажу, что ты на чужих баб заглядываешься.

Не знаю, расслышал он, или догадался, но вдруг засмеялся, подбежал ко мне и схватил обеими руками за грудки.

— Не-е, не-ее, не пущу, не пущу.

— Ладно, — уступил я. — Не поеду. Передай бригадиру, что я вернулся. И посылки раздай! — и я знаками показал, что нужно сделать.

Он остался возле мешков и свертков, сникший, непонятный, уперев руки в бока, смотрел мне вслед, и я вдруг почувствовал к нему такую жалость, что чуть не повернул арбу и не поехал назад — дослушать его, потолковать о привидевшихся ему бабах, пока он не успокоится... Хоть бы эта вдова пошла за него, что ли, и родила бы ему детей... Хотя у нее своих было трое и они из-за «глухонемого Эстатэ» ссорились с матерью и грозились уйти из дома...

Еще некоторое время я двигался вглубь зеленого гобелена. Арба катилась то в гору, то под гору, перетекла округлые взлобки и, наконец, стала. Я слез и распряг вола.

На склоне, на треть врытая в землю, темнела плетеная хижина. К ней примыкал просторный загон, огражденный свежошкуренными, дочерна обветренными брусьями. Стадо разбрелось по склону, незаметно для глаз двигаясь к вершине: в свете солнца, сияющего над вершиной горы, оно казалось черным.

В хижине на узких нарах топорщилась солома, белел погасший очаг, подвешенный на прутьях к потолку, покачивался плетеный поднос с дичками. У очага, прислоненная к камню, стояла глиняная сковородка и кувшин.

Я выглянул из хижины — моего напарника Иузы не

было видно. Скорее всего он сидел где-нибудь в тени куста и играл в камешки, или в ножичек — тренировался для поддержания формы, чтобы потом обыграть меня на десяток хинкали, полдюжины груш или кувшин холодной воды, а поскольку за время работы на ферме Иуза стал настоящим виртуозом, я был у него в неоплатном долгу. На два года младше меня, он четвертый год работал подпаском, и по всей Зеленой долине в самых неожиданных местах наковырлял ножиком пяточков для игры: темные плешины диаметром в пядь, — травка с корнем выкорчевана, бугристая земля утрамбована и прибита ладонью. Некоторые из пяточков угольно чернели в траве: это означало, что на них Иуза разводил костерок, выжигая ростки травы.

Я посидел в хижине, передохнул с дороги, потом взял секач и принялся укреплять расшатанные колья и брусья загона. На стук секача тут же появился Иуза, выглянул из-за взлобка пониже хижины и, придуриваясь, замычал бычком.

— Ты чего там делаешь? В камешки играешь?

Он закивал, улыбаясь до ушей.

Я посмотрел на солнце и продолжал заниматься своим делом, а когда опять поднял голову, он стоял рядом — босой, в латаных штанах, не достающих до щиколоток, с майкой, полной грибов: завязанную узлом, он держал ее за плечики, как сумку.

— Почему вчера не пришел, зараза?

— Не мог. Виноградник опрыскивал, акации рубил на силос.

— У твоего деда работы хватает, это все знают. Зря его не раскулачили.

— Об этом не тебе судить, голова — два уха.

— Хорошенькое дело! Ты дома хозяйничаешь, а я за тебя отдувайся...

— Знаю, как ты отдувался. Дрых, небось, всю дорогу или в камешки играл.

— Ничего себе! Сам в деревне гуляешь и сам же меня ругаешь потом.

— Да не ругаю я тебя. Хочешь, тоже сходи. Кстати, мать просила тебя спуститься, помочь.

— И пойду, а ты как думал. Пойду и на неделю пропаду, вот увидишь.

— Ну, ворчун! Так говоришь, как будто я тебя не пускаю.

— Не пускает! Тоже мне — начальник, буду я у тебя спрашивать!

Он и в самом деле был ворчлив, но уступчив, единственный сын кроткой болезненной Федосии, вдовствовавшей и бедовавшей, как и большинство ее ровесниц в деревне. Конопатая, беззлобная мордаха Иузы с шалыми серо-голубыми глазами и выгоревшим ржавым чубом располагала к себе, вызывала симпатию; даже ворчливость шла ему.

Наворчавшись всласть, он помолчал, признался:

— Жрать охота, — и ласково погладил себя по животу. — Хоть привез чего-нибудь, трепло?

— Идем, — сказал я. — Сейчас ты у меня поправишься.

Мы вошли в хижину и я выложил из хурджина домашнюю снедь: хачапури, пироги с лобие, кукурузные лепешки и огурцы с помидорами.

Иуза достал пастуший сыр и вывалил из завязанной узлом майки только что собранные луговые грибы — кама, после чего вытряхнул майку и натянул на себя; она оказалась велика, то и дело сползала с плеча.

Обычно луговые грибы мы ели сырыми, но при виде обильной закуси у Иузы разыгрался аппетит, в нем проснулся гурман, он решил устроить пир и, мигом разведя огонь в очаге (четырёхлетний опыт сказывался), поставил на него глиняную сковородку.

— Ух, сейчас мы с тобой вдарим! — перебирая грибы, глотал слюну и блестел шалыми глазами. — Хоть ты и сачок, так и быть, угощу за компанию. Потерпи немножко! — он научился у пастухов жарить грибы всухую — без сметаны и масла: такой пошел дух, что и я захлебнулся слюной. — Сейчас, сейчас! Жаль выпить нечего. — Ты, ясно море, не сообразил?

Я развел руками.

— Ну, ничего, родниковой водицей запьем, а я тебе такого нарасскажу — закачаешься. Без вина захмелеешь. Сука буду — вот те крест! Не веришь, да? Думаешь, заливают Иуза? Слушай сюда... — он поставил на стол сковородку, извлек из угла схороненный в холодке кувшин с водой и, когда мы уселись на чурбаки, начал: — Наутро после твоего ухода поднимаюсь с биноклем

на гору, не все же мне в камешки играть. Туда навел, сюда, и вдруг... ах ты мать родная, что такое? Над волчьей падью на плато, где турбазу строили, флажок трепыхается и народу полно. Выстроились по линейке, как новобранцы. Потом разбрелись, кто куда. Одни в кружок сбились, другие в мяч играют, третьи цепочкой к горам потянулись. Смекаешь?.. Турбаза-то открылась, понял? Достроили. С той стороны через Ткибули дорогу подвели, машины там, грузовик, автобус — у меня глаза на лоб полезли...

Иуза загреб хлебом грибов из сковородки и уставился на меня. Видно, моя реакция не соответствовала его ожиданиям. Он подождал, не донеся кусок до рта, спросил:

— Не веришь? Бери бинокль — пошли!

— Ну и чего ты всполошился, — сказал я. — Должны же были когда-нибудь ее достроить.

— У них там и кино, и чего только нету.

— Откуда знаешь? Ходил, что ли? Успел?

Он помолчал, разинув рот. Кивнул неуверенно.

— Ходил. Только бригадиру не говори.

— А Эстатэ там не видел?

— Какого Эстатэ?

— Нашего. Глухонемого.

— Не-а, не видел. А что?

— Бедняга сам не свой: перехватил возле фермы — красный, вот-вот кровь из пор брызнет; ба-а, ба-а, бабы, три машины баб, которые в платьях, которые в штанах. Видать, там углядел.

Иуза снял с огня разогревшийся хачапури, разломил и протянул мне половину.

— Точно. И в штанах были, сука буду — вот те крест! Слушай, слушай! Так и быть, все тебе выложу, хоть ты и не стойшь... Промаялся день до вечера, аж глаза от бинокля косить стали, а как солнце за гору, я стадо на водопой сгонял, запер и туда. В бинокль вроде близко, верно? А час волком трусил, не меньше. Пока добрался, смерклось уже. У них лампочки на столбах горят, как в райцентре, маленькие домики рядками выстроились и дорожки между ними с краев речным булыжником выложены. Только булыжник тот шибко белый, в темноте аж сверкает. Потрогал — так и есть, известью вымазан, до первого дождя, значит. А в сторонке место

огражденное, вроде нашего загона, только, ясно море, поаккуратней будет, брусья и колья обструганы, пригнаны ладно и зеленой краской покрашены, и в том загоне они чуть не все топчутся обнявшись, трутся друг об друга под музыку, танцуют—понял, нет? Видал когда-нибудь, как танцуют? — Иуза опять поглядел на меня, разинув рот. — Хочешь, покажу? — подбежал, поднял с места и, обхватив обеими руками, стал вихляться, похохатывая. — Вот так! Смекаешь? Вот так! Вот так!.. Трутся животами, а платьца тонкие, меня аж в жар бросило. Я сначала робел, не смел к тому загону приблизиться, но подошел шаг за шагом, даже пролез между брусьями; вижу, рядом три женщины сидят, не танцуют, шепчутся о чем-то. А я вот как сейчас—в этих штанах и босиком, а поверх майки рубашка в клетку. Не в бурке же туда идти, точно? Жарища такая... Сначала все озирался, откуда музыка звучит, но так и не разглядел. Сука буду — вот те крест, прямо как будто дерево поет и играет. Потом потихоньку к этим женщинам подвинулся — охота мне тоже потолкаться в обнимку. До того меня разобрало, думаю: была не была, сгребу одну, прижмусь покрепче и потанцую. Вот сейчас, нет, сейчас, ну, хоть сейчас!.. Ну прямо как на побег решаюсь... Пока мялся, ко мне вдруг подвалили трое с красными повязками, тихо в сторонку отвели: кто такой и как сюда попал, на территорию посторонним вход воспрещен. Я с перепугу язык проглотил, стыдно, что потанцевать захотелось. Молчи, молчи, говорят, мы все сами знаем заранее: сначала танцы, так? Потом кино, а потом кража и групповое изнасилование. Словом, марш галопом, и чтоб духу твоего здесь не было, не то наkostenяем и в милицию! Я разнюнился было, разжалобить хотел: не прогоняйте, дядечки, что я вам сделал, какая еще кража... Потом зло меня взяло, пошел и в темноте возле одного из домиков нужду справил основательно. Покружил еще, за кустами хоронясь, интересно все-таки... После танцев стали кино крутить. И не как у нас в клубе, а подряд, без перерыва. Мне плохо было видно, далеко, но если с твоим биноклем — можно разглядеть...

Иуза закончил рассказ и опять, разинув рот, уставился на меня: такая у него была странность — слушал, по-стариковски приотрыв рот.

Я ел и помалкивал, хотя его сообщение не остави-

ло меня равнодушным. Да и как могло оставить равнодушным появление людей в Большой зеленой долине, так сказать, вторжение авангарда. Вряд ли мне тогда пришло такое в голову, во всяком случае я наверняка обошелся без военной терминологии; окружающая среда еще не возопила и проблемы экологии не пугали нас, но то, что соседство чревато, я почувствовал сразу, и сразу проникся неприязнью к соседям.

— Что скажешь? — так и не дождавшись от меня ни слова, спросил Иуза.

— Пусть живут, — ответил я. — Видно, не умещаются внизу, в долине. А в октябре, как дожди зарядят, небось, сами назад потянутся.

— Да я думаю, как бы к ним туда пролезть! — Иуза аж скривился от досады и костяшками пальцев слышно постучал себя по голове. — Кино там, танцы-манцы, а ты чего?

— Накостыляют и сдадут в милицию, — засмеялся я. — Они же сказали.

— А если им сыру отнести несколько головок? — спросил он и разинул рот. — А? Или барашка подарить? Одного, хроменького. А то ведь одичали мы тут совсем...

— Лучше захлопни варешку, разиня, сыр матери отнеси, если найдешь.

Он вскочил и, поправляя сползшую с плеча майку, сжал кулаки.

— Ух, так я и знал! Разве с тобой договоришься! Ничего, я и сам к ним дорожку найду. Только тогда не просись, не пристраивайся!

— Ладно, не кипятись.

— Как будто я для себя одного хлопочу. Вместе бы и ходили, дурень! Чем в ножички резаться, или камешки катать... Ты бы хоть поглядел, что там делается, — в нем опять затеплилась угасшая было надежда. — Отсюда погляди, с горы...

Поглядеть я был не прочь: интересно, как-никак. Убрав остатки еды, взяв бинокль, подаренный отцом, и поднялся на гору! Иуза бежал впереди, торопил меня:

— Давай, давай! Шире шаг! Сейчас у них послеобеденные игры начнутся! Я уже все про них знаю, весь распорядок...

На севере, над Большой зеленой долиной на плато ярко пестрели домики, на высоком шесте трепыхался

флажок. Между домиками группами и поодиночке ходили люди. В стороне, на неогражденной площадке играли в волейбол. Вдали за домами от гор двигалась длинная цепочка; я насчитал в ней шестнадцать человек — группа возвращалась из похода.

— Ну как? — спросил Иуза, по моему лицу пытаюсь понять, какое впечатление произвело на меня увиденное.

— Собирай стадо. Пора на водопой, — ответил я и положил бинокль в футляр.

— Ну и дурак, — сказал он. — И сиди тут с овцами...

Дни в Большой зеленой долине тянулись необычайно длинно: там все совершалось пространно и замедленно: медленно светало, и мир всплывал из тьмы, как из потопа, рассеивал туман, стирал его с лица, обретал отчетливость, яркость и резкость и, наконец, выказывал всю свою мощь, вознеся в небо необъятную, поразительно неподвижную панораму гор. Вот уж где не могла родиться мысль о вращении земли! Да сам Коперник, попади он сюда, усомнился бы в своей правоте. Земля не вращалась. Она была неподвижна в пространстве и солнце медленно ползло вокруг нее.

Мы жили со стадом, жили в стаде и, окруженные могучей биологией, видели его любовные игры, ссоры и схватки: бычки-трехлетки неуклюже наскакивали на нетелей и орошали травы незрелым семенем; бараны таранили друг друга панцирно-прочными лбами, сцеплялись закрученными рогами и чуть не ломали друг другу шеи за право продления рода, а овечки, ради которых разгоралась схватка, не поднимая глаз, покорно и скромно щипали траву, и было в этой покорности, в настороженно-выжидающем наклоне овечьих голов что-то самоцель, вернее, извечно женское; одинокий осел с засиженной слепнями раной на спине оглашал горы тоскливым воплем — единственный звук, выдававший присутствие стада в долине, в ответ на который опрятная нетель вскидывала короткорогую голову и с укором мыкала; точно говорила: «Ну чего ты орешь?..»

Медленно догорал закат, окрашивая стадо в рыжий цвет, и приходила ночь: теперь стадо вздыхало и топталось за плетеными стенами, и ветхозаветный запах стойбища легко проникал сквозь прутья и ворочался в хижине. Небо усыпали звезды. В свете звезд стадо в загоне становилось синим и между синими спинами белой

торой возвышался вол-великан—неподвижный, безучастный, грустный. Земля спала, объята размеренным монотонным звоном, и не верилось, что звон этот исходит не с небес, а от невидимых в траве сверчков и кузнечиков.

А поутру снова знобяще свежее ощущение горной прохлады; с ним странным образом гармонировал безжизненно-пресный запах остывшей золы в очаге и выгребаемых из-под нее тлеющих угольков, и дым костра, на котором жарились нежные луговые грибы-кама—жемчужно-белые, с шелковистым исподом цвета какао. Густой, до горечи сладкий дикий мед в миске, крупная, чуть подсохшая земляника, перепелиные яйца из лузовых тайников, козье молоко. Иногда нам присылали с фермы свежие хинкали и сыр.

Так мы жили в Большой зеленой долине.

День венчало шествие стада на водопой: грузной трусцой, екая селезенкой, спешили под гору бычки и нетели, ослы, козы и овцы, а над всеми на спине белого вола восседал голый до пояса погонщик. На дне ложбины, в волглой тени орешника и желтой одури сочился ключ и бежал ручей, перегороженный запрудой. Испытанное бликами стадо толкалось у запруды; жарко вздыхая, пыхтя и роняя тягучую слюну, бычки и нетели оттискивали друг друга, а чуть повыше, ближе к источнику, пили воду мы с волом-великаном, и самые смысленные из стада с трудом выбирались из толкучки, нерешительно присосеживались к нам и, слышно глотая, цедили сквозь губы, дули на воду и удовлетворенно моргали, и в лиловых влажных глазах отражались ручей и запруда и курчавый кустарник.

Но вот стадо загонялось на ночь, и Иузу охватывало нетерпение: его звала турбаза, тянуло к раскрашенным домикам под электрическими лампочками, к беспечной толпе на танцплощадке. Впрочем, и днем он думал и говорил только о турбазе, забросил свои любимые игры, не отрывался от бинокля, со своего наблюдательного пункта пересказывая мне виденное, как какой-нибудь воин в шекспировских хрониках. Он уговаривал меня пойти с ним, дескать, вдвоем нас не тронут, побоятся, но так и не уговорив, одел свою клетчатую рубашонку, обул мои парусиновые башмаки и пошел.

Вернулся злой, взъерошенный, со ссадиной на ску-

ле и оборванным воротом. Ни слова не говоря, лег на нары и с головой укрылся буркой.

Наутро он сложно и замысловато выругался, жести кулируя в сторону турбазы, и объявил, что уходит в деревню, помочь матери по хозяйству.

Я остался один.

Одиночество в Большой зеленой долине. Значительное и наполненное безмолвие. Может быть, лучшее, что выпало мне в жизни.

Август близился к концу. После Преображения дни заметно укоротились, а ночи удлинились и стали прохладнее: звон с небес поутих, хотя ночное небо было все так же сплошь забито звездами, а в хижине у очага поселился сверчок и тихо пел до рассвета. Днем солнце пекло по-прежнему, коровы отмахивались от слепней, ягнята прятали головы в тени под овцами.

Теперь бинокль был при мне и я иногда доставал его из футляра, слабо пахнувшего порохом и ментолом: занято было, переместив пространство, разглядывать старуху, бредущую среди папоротников за черной короной, или хозяйку на чужом далеком дворе, разбрасывающую зерно, на которое отовсюду сбегаются куры, или недосягаемый для невооруженного глаза обсаженный кипарисами курган, похожий на древний могильник. Мощный артиллерийский бинокль приближал даже заснеженную грядку, видимую из нашего дома. Там, у ее подножья, под гладко стесанными белыми скалами, чуть не в фокусе, как это бывает при разглядывании слишком отдаленных объектов, примерно в одно и то же время проходил поезд: полз по ущелью, огибая гору. Маленький участочек железной дороги, увиденный из Большой зеленой долины — словно взгляд в другой мир через волшебное окно; как в фантастическом сне, тем фантастичней, что зеленые вагоны в сцеплении походили на движущийся пейзаж.

Порой я наводил свои окуляры и на турбазу, яркую и оживленную среди зеленого покоя. Там целыми днями играли в волейбол; видно, заезд выдался спортивный.

И вот однажды на противоположном склоне долины я увидел яркое пятно, двигавшееся со стороны турбазы. В бинокль я разглядел женщину — она спускалась вниз, в ложбину, где курчавился рослый кустарник. На ней

была просторная красная юбка, белая рубаша с закатанными рукавами, в руках шлепанцы, которыми она размахивала, вприпрыжку спускаясь под гору. Лица я не смог разглядеть, только короткая копна волос, да открытый рот — мне показалось, что женщина пела. С первого же мгновения зрелище насторожило меня, точно сигнал тревоги; сердце запнулось и зачастило. Я не отрывался от бинокля, пока женщина не скрылась в зарослях. Какое-то время красное и белое мелькало в зелени кустарника. Потом полог долины задернулся, закрылся, поглотив видение.

Полдень давно миновал, но зной не спадал.

Я затенил рукой глаза, посмотрел на солнце — час водопоя был еще не близко. Я все-таки собрал стадо и погнал вниз. Я погонял стадо, сидя на спине белого вола, раскачиваясь в такт его шагов и громко покрикивая. Стадо, шурша ветвями и треща сучьями, ломилось к запруде. Гул набега наполнил ложину. Я отводил упругие ветви, крутил головой, высматривая гостью, ища ее и боясь увидеть. Запах желтой одури вдруг разогрелся и так загустел, что стало трудно дышать. По ту сторону ручья в прогалине ярко мелькнуло что-то. Я присмотрелся и оторопел от догадки: это сохла развешанная на ветках ее одежда. Я спрыгнул, вернее, сполз с вола, бессознательным жестом провел рукой по его спине (спина была сухая, горячая и шершавая) и пошел через ручей. Дышать стало совсем нечем. Меня переполнял гул сердцебиения и сладкий запах одури. Все вокруг радужно зыбилось, как сквозь мокрые ресницы. Раздвинув кусты, я вышел на прокаленную солнцем лужайку и увидел ее.

Таитянка... Это воспоминание вжилось в меня, как обруч в окольцованную птицу — в любую минуту я могу ощутить его невесомый холодок, могу потрогать, погладить, даже потерзать клювом, только не освободиться — тут я бессилен.

Таитянка... На свой первый гонорар я подарил ей альбом Гогена. Разглядывание смуглых полинезийек с маленькими неразвитыми грудями и тугими тяжелыми бедрами стало ее тайным ночным развлечением, можно сказать, пороком, иначе она не прятала бы альбом с такой тщательностью... Узкоглазая, с полными губами сиреневатого оттенка — даже странно, что она заговори-

ла по-грузински. Но чего не намешано в нашей живучей крови!

На самом деле ее звали Элико — уменьшительное от прелестного и трагического имени Елена.

Вечером она ушла, пообещав наутро вернуться.

Я не мог оставаться в хижине, вышел и лег под звездами на теплую тихую землю.

Бескрайний небосвод распростерся надо мной. Больше тридцати лет память хранит в неприкосновенности тот необъятный покой и ясность.

Утром она не пришла.

Я собрал и нажарил луговых грибов, разорил тайники Иузы, подоил коз и прилежно сел на пригорке над хижинкой. Я ждал. Вокруг паслось стадо, незаметно двигаясь к вершине. Пекло солнце. Горы тонули в мареве. Далеко в ущелье в свой час прошел поезд: все было как всегда.

На мгновенье вдруг показалось, что мне все привиделось, что на самом деле ничего не было. Да и могло ли быть такое!..

И чтобы убедиться в реальности минувшего дня, я встал и пошел к турбазе.

Она играла в волейбол. Я не сразу узнал ее. В синем трикотажном костюме с закатанными до колен штанинами, она казалась старше всех на площадке: тяжело-ватая, неловкая, в ней не было ничего спортивного, она совсем не умела играть, но от каждого ее движения перехватывало дыхание. Тогда я угадал, учуял то, в чем не раз убеждался позже: спорт и эротика несовместимы, полярны. Чувственность, присущая спорту, другого происхождения — так сказать, дитя света.

Над ней посмеивались, потому что она просто отбывала номер, портила игру, соперники все время целили в нее. Кто-то крикнул: «Элико, может, отдохнешь немного? — и потом мне. — Эй, парень, становись на подачу!» Тут и она увидела меня. Присмотрелась, удивленно приподняла брови и пошла к противоположной скамейке.

Замена оказалась неважной, я играл не намного лучше, и тот же голос стегнул нас, невольно связав воедино: «Вы что, вместе тренируетесь?» Элико засмеялась и мельком коротко глянула на меня блестящими раскосыми глазами. До этого взгляда я чувствовал себя до крайности глупо и неловко, мне представлялось неверо-

ятным заговорить с ней, напомнить или, тем более, упрекнуть... Но она что-то такое сказала глазами, что когда мяч покатился в ее сторону, я побежал за ним и мимоходом бросил: «Ты почему не пришла?» «Дай дух перевести», — ответила она с коротким и низким смехом, и этот ответ и смех переполнили меня гордостью. Кажется, я даже заиграл получше.

Уходя с площадки, она прошла совсем рядом и потупясь шепнула одно слово: «Завтра».

Завтра...

Я спешил к своему покинутому стаду, вслух повторял это слово и смеялся.

Только годы спустя, в лучшую пору, когда работа моя подвигалась счастливо и ладно, я испытывал схожее чувство безграничной свободы и власти.

Таитянка...

Не знаю, как ей удалось отговориться на турбазе, но она пришла и осталась в Большой зеленой долине, и маленькая хижина со сверчком у очага и запахами луговых грибов и хлева служила нам пристанищем, приютом, языческой кумирней, и стадо в загоне взволнованно топталось, сверчок умолкал, когда протяжный жалобный крик, полный безысходной тоски, как крик птицы, отставшей от стаи, вылетал из хижины. Мы и днем почти не покидали хижину, только вместе гнали стадо на водопой; она покрикивала дерзким фальцетом, как заправский пастух, и даже пыталась свистеть в два пальца; я придерживал ее одной рукой, на кручах откидываясь назад, а у запруды помогал слезть и, не удержавшись, прижимался щекой к тугому смуглому бедру, она смеялась и трепала меня за вихры и, зачерпывая пригоршнями, пила родниковую воду и поила меня из маленьких смуглых ладоней...

Эту первобытную идиллию, эту пастораль прервал все тот же злополучный Иуза. Сначала он оторопел при виде Элико и от смущения только тарашился да мычал невнятно, что глухонемой Эстатэ. Потом знаками вызвал меня из хижины и, оттягивая кожу на униженно вытянутой шее, заканючил:

«Можно, я тоже, Отар! Как брата прошу! Ну, что тебе стоит? А я что хочешь для тебя сделаю! Сколько ты мне в камешки и ножички проиграл — все прощаю...» Его распаленное воображение породило прямо-таки пи-

ратскую идею: «А нет, сядем сейчас, вот здесь, и сыграем один кон: кто выиграет, тот и...»

Я только снисходительно, свысока рассмеялся и как маленького шлепнул его по затылку.

А на следующий день Элико сказала, что уезжает. Почему-то отъезд был для нее неожиданностью. Возможно, ее отчислили за нарушение режима. То есть, по моей вине. Я не сразу это понял. Мы сидели на безлесом склоне недалеко от турбазы. Элико была расстроенная, и опять, как на волейбольной площадке, я увидел, что она далеко не ровесница мне. Она поджала колени, положила на них тяжелый подбородок и, глядя в пространство, говорила:

— Стыд, стыд-то какой, господи! Представляю, что они обо мне думают, какими словами обзывают... А вообще-то, между нами, девочками, говоря, им-то какое дело! Разве я в пионерском лагере и мои родители брали с них подписку? А, может, я и правда у родни в деревне ночевала... Да что теперь доказывать! Кому что докажешь словами? Только бы на работу не написали... — Посмотрела на меня, усмехнулась своим мыслям. — Сама не знаю, как это вышло. Затмение какое-то. Кошмар!.. От жары, наверное... Ну, ничего. Теперь уже все, — она вырвала пучок травы и, разжав ладонь, пустила ее по ветру. — Завтра уезжаю. Все... Только не подумай, что я жалею. Стыдно — да, но, оказывается, стыд радости не помеха. — Замолчала, скосила на меня свои странные глаза и смотрела долго-долго, пока темные зрачки не растеклись в глазное яблоко; потом вдруг потянулась медленно, обняла за шею, прижала к себе и жарко зашептала в ухо: — А мы вот что сделаем, пастушок, всем назло, чтоб в душу не плевали... Ты ведь никогда не был в Тбилиси, чудо ты мое лесное. Так я тебя увезу! Нам ведь хоромов не надо, верно? Хватало же твоей хижины. У меня еще почти пять дней от отпуска. Поживем, погуляем. Я тебе такого покажу!.. А уж потом простимся навсегда! Едем, не бойся, не задушу я тебя, сама отпущу. И вернешься ты в горы, к своим коровам... Ну, пастушок!..

Меня не надо было уговаривать.

Я только и успел, что предупредить своих. К счастью, Ивлиту вызвали в школу; обошлось без слез, рас-

спросов и проводов — наконец-то я решил съездить в Тбилиси, всего и делов...

Народу на станции собралось изрядно, но знакомых было мало: учитель химии провожал тбилисскую родню, да из дверей станционного буфета торчало необъятное пузо дяди Герасима. По путям суетливо спешили долгополые старухи с мешками. За железной дорогой шумела река. За рекой на пригорке белела между деревьями недавно отремонтированная школа — там в любую минуту могла появиться тетя Ивлита, и пока снизу не послышался гудок электровоза, я не выходил из зала ожидания.

Я не знал, в каком вагоне едет Элико, и немного волновался. Мне представлялось, что она помашет рукой из приспущенного окна или окликнет, но электровоз с утробным рокотом протащил мимо перрона треть состава, а ее нигде не было. Задние вагоны по дуге уходили за поворот, чуть ли не до моста. Я спрыгнул на насыпь и, хрустя щебенкой, побежал вдоль вагонов. Учитель химии цапнул меня за рубаху: «Помог бы! Видишь — горим!..» Я покидал в вагон их неподъемные корзины и сумки и бросился дальше. С платформы перрона я мог хотя бы заглядывать в окна вагонов, здесь же вагоны стояли так высоко, что я видел только огромные колеса и черное от копоти и масла подвагонное устройство — поскрипывающие колодки, сцепления, стоки; раз за два меня чем-то обрызгало. Сверху, из вагонов, как со второго этажа в подвал, на меня с любопытством поглядывали, спрашивали знаками: что, дескать, надо? Я только отмахивался и бежал дальше. Так я добежал до хвостового вагона — Элико не было. Постоял, ошеломленный, оглушенный собственным сердцебиением, пытаюсь сообразить, что бы это значило, и бросился назад, в голову состава. Учитель химии опять встал на пути: «Что случилось, Отар? Кого потерял?» Из буфета выплыл дредноутом дядя Герасим, загородил своим брюхом пол платформы, осклабился: «Ну как, пересчитал?» Остряк!.. Я стоял, озираясь. Суета вдоль поезда улеглась, посадка кончилась. Мне показалось, что я недостаточно хорошо разглядел три первых вагона, они слишком быстро прошли мимо, опять спрыгнул с платформы и побежал по щебенке, выворачивая голову и заглядывая в окна на втором этаже. Мне и в голову не при-

ходило, что Элико нет в поезде, что она осталась на ба-
зе — ведь могли же ее простить в последнюю минуту. Я
знал, что она здесь, рядом, чувствовал ее где-то близко
за этими железными стенами. Недоумение и обида сме-
нились злостью: как же так!.. Электровоз загудел, по-
езд тронулся. Я чуть отошел от насыпи, чтобы лучше
видеть вагоны — они двигались все быстрее. Опахнуло
мазутным ветерком. Кто-то выбросил из окна сверток.
Увернувшись от разлетевшихся объедков, я затрусил
вдоль полотна по щебенке, то и дело оступаясь и как бы
проваливаясь; вагоны надо мной двигались удивительно
плавно, точно плыли по рельсам. Ветер, поднятый их
движением, обгонял меня. Еще минута — и все! Я наце-
лился на один из последних вагонов, с выступающей
подножкой, надал и, когда он поровнялся со мной, в
отчаянном прыжке повис на поручнях. Проводница, еще
не убравшая флажок,хватила меня им по рукам: «Спя-
тил, дурило! Жить надоело?» Но я уже сидел на под-
ножке и давился встречным ветром.

На ближайшей станции перешел в голову состава,
пошел по вагонам. Элико нашлась в переполненном об-
щем, том самом с выступающей подножкой, на которую
мне удалось запрыгнуть. Судя по ее лицу, она не очень
обрадовалась появлению. Торопливо встала и вышла со
мною в тамбур.

«Я спутала станцию. Решила, что ты не пришел».

«А я решил, что ты передумала. Прячешься».

«Вот еще!.. Ни от кого я не прячусь...»

Все так просто объяснилось — словно гора свали-
лась с плеч; но я не отрывал глаз от Элико: здесь, в ва-
гоне она казалась совсем другой. Она потрогала мою
рубашку, провела рукой по лбу.

«Где ты так взмок?»

«Бежал за поездом».

«За мной бежал?!»

Я кивнул.

«Сумасшедший...»

Забилась в угол между печкой и дверью (у другой
двери стоял инвалид на грубом протезе и не переставая
курил), расстегнула мою рубашку и дула за воротник;
иногда ее рука проскальзывала туда же и легонько ка-
салась моей груди: «Еще не остыл. — Щечтала она, —

Сумасшедший...» Проводница за нашей спиной презрительно фыркала. Когда она заходила в вагон, я прижимал Элико к двери и целовал.

Кругом гремело и лязгало железо. От махорки инвалида першило в горле. Едко пахло гарью и грязью.

Поезд шел мимо гладко стесанных белых скал — может быть, тех самых, что я видел в бинокль из Большой зеленой долины.

Поздно вечером мы были в Тбилиси.

Так я впервые попал в город.

ХРОНИКА

ПРЕМЬЕРА В ЛЕНИНГРАДЕ

Памятную встречу с творчеством народного артиста СССР Сулхана Цинцадзе подарил ленинградцам гастролью грузинских музыкантов. Они включили в свою программу его новое сочинение — двадцать четыре прелюдии для скрипки с оркестром. Премьера с успехом прошла в Большом зале филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Музыка своего земляка представили слушателям народная артистка Грузинской ССР Лиана Исакадзе и руководимый ею республиканский камерный оркестр.

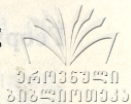
Новое сочинение Цинцадзе очень современно по духу, проникнуто национальным колоритом, живо передает богатейшую гамму человеческих чувств и переживаний.

В разные годы в Ленинграде исполняли симфонии Цинцадзе, его виолончельный концерт, музыку балета «Демон». Все эти сочинения отличается большое тематическое разнообразие, напевность и выразительность мелодики, органичная связь с традициями национальной культуры.

В ленинградских концертах приняла участие Государствен-

ная хоровая капелла Грузинской ССР под художественным руководством заслуженного деятеля искусств РСФСР Бориса Певзнера. Прозвучали Месса соль мажор и Литания Моцарта. Лиана Исакадзе познакомила слушателей с талантливой австрийской виолончелисткой, лауреатом международного конкурса имени П. И. Чайковского Иоанной Пикер, которая исполнила с оркестром Концерт ре мажор для виолончели с оркестром Гайдна.

Как и в прошлые сезоны, музыкальное искусство Грузии и ныне разнообразно представлено в ленинградских филармонических программах. Так, в масштабный цикл «Советская музыка», где объединены произведения разных десятилетий, включена Седьмая симфония Ги Канчели. Паата Бурчуладзе приглашен принять участие в цикле концертов «Все камерные сочинения Дмитрия Шостаковича». Он исполнил романсы на тексты из журнала «Крокодил» и «Четыре стихотворения капитана Лебядкина». С концертом старинной итальянской музыки выступит Маквала Касрашвили.



* * *

Друг фронтовой,
как сердце не устало? —

И колоколом
в ребра снова бьет.

А вынесло оно боев немало,
И радость встречи пусть перенесет.

Пред пулями не закрывали глаз,
Но слез своих теперь я не скрываю.

Твой дом,
твою семью благословляю.

И пусть еще мы встретимся не раз.

И с той поры,
когда сражались вместе,

Хоть были дни порою тяжелы,
Солдатской мы не уронили чести,

И лица наши ясны и светлы.

У Оби

Обь течет, пространство заполняя,
Взглядом всю ее не охватить!
Здесь в просторах голубых Алтая
Буду я о дружбе говорить.

Пусть лишь только песне будет тесно
В этих богатырских берегах.
Пусть она прославит повсеместно
Тех, кто жизнь свою провел в трудах.

От Оби так много верст до Ушбы,
Столько лет меж нами и войной.
Но опять мы встретились с тобой,
Потому что нет преград для дружбы,
Настоящей дружбы фронтовой.

Перевод Сергея АЛИХАНОВА

ЧЕРНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ

РАССКАЗ

Посвящается Арсену Кобаидзе,
Герою Социалистического Труда

Сырой, наполненный снежным дыханием ветер с особой силой бесчинствует за окраинными домами селения Земо-Кеди. В сторону холма, согнувшись, идет пожилая женщина, одетая во все черное. Ветер взвиривает колючую снежную пыль, задувает под одежду, норовит сорвать с головы черный шерстяной платок. Но Машо Кобаидзе упрямо продолжает путь. Там, на холме, другое селение — селение Вечности. С каждым годом все больше земляков Машо переселяется туда. Так уж устроен мир, Машо, так...

Когда-то, рассказывают старики, Важа Пшавела, которому хорошо знакома была жизнь земляков-пшавов, кочевавших с отарами с летних высокогорных пастбищ большого Кавкасион в теплую Ширакскую долину, где даже зимой растет сочная трава, предложил своему народу: переселяйтесь, мол, поближе к Гомборскому хребту, там плодородная земля, там прекрасные пастбища, там — Кахети!.. И несколько пшавских селений покинуло насиженные места, а некоторое время спустя в Ширакской степи появились домики села Земо-Кеди. Сообща строили эти первые дома, сообща устанавливали загоны для овец, сообща же стали распахивать землю.

В тот день, когда в селении отпраздновали первое новоселье, раздался и первый поминальный плач, и на близлежащем холме появилась первая могильная плита. На земле всегда было так, Машо... Смерть шла рука об руку с жизнью. Первый крик новорожденного как

бы связан с последним вздохом старика, навсегда оста-
вляющего бренный мир.

Лицо женщины глубоко изборождено морщинами, от висков к подбородку скатываются холодные ручейки — то ли растаявшие снежинки, то ли слезы. Нелегкая жизнь сделала ее суровой.

Трудна тропа к селению Вечности, ох как трудна! Не совсем подмерзшая земля чавкала под ногами, Машо то и дело падала, но вновь поднималась и шла.

Когда-то, не так уж и давно, по этой тропе отправился в свой последний путь и ее муж Алекси. С тех пор она часто проделывает этот путь, когда заканчивает работу на ферме. Придет на могилу, обнимет заросший жесткой травой холмик, помолчит. И незаметно молчание переходит в неторопливую беседу. Машо делится с мужем новостями, иногда жалуется на трудные времена. И кажется, что Алекси ее где-то рядом, слушает.

— Что сказать тебе, Алекси? Война. Всем сейчас тяжело. В каждом дворе только женщины да дети. Ну, старики, конечно... Эх, давно уже мое место рядом с тобой. Но ты ведь сам знаешь, война. И нашим мальчикам, там, на фронте, еще нужна моя жизнь. Говорят, свет материнских глаз должен освещать им путь к победе. Иначе мальчикам труднее будет бить проклятого зверя... Потому ни одна мать не имеет права умирать в войну... Хлеб растить кто будет? А главное — кто будет ждать их возвращения?! Кто встретит на родном пороге?! Люди говорят, когда нашим бойцам на войне приходилось очень тяжело и враг побеждал на каком-то участке фронта, это происходило потому, что где-то в тылу умирали чьи-то выбившиеся из сил матери...

Летом дорога к селению Вечности не столь утомительна. Машо легко преодолевает ее, неся на плече небольшой кувшинчик с вином.

Весь день Машо проработала в поле, жала пшеницу. Пошли в ход старинные серпы, которыми до войны жали только траву вдоль дорог. Комбайны стоят — некому с ними управляться. Да и бензин нужен фронту. Потому на поле вышли все, кто мог держать в руках серп. Даже Коба Чохели, первый коммунар, которому вновь пришлось возглавить совхоз, кряхтя, взялся за серп. Ближе к вечеру Машо прошла по винограднику

в Тарибана, выпальывая сорняки под корнями лозы, а когда солнце ушло за Цивгомборский хребет, помогала дояркам в коровнике.

В сумерки Машо пошла к Алекси. Когда до кладбища оставалось совсем недалеко и луна, разогнав тучи, ровным светом осветила ограду, церквушку-часовенку и врезавшиеся в ночное пространство кресты, Машо удивилась:

— Как быстро растет это селение Вечности, господи! Сколько людей переселилось с широких улиц Земю-Кеди на эти узкие улочки... Еще два дня назад за могилой моего Алекси было пустое место, а теперь четыре свежих бугорка выросло.

Она прислонила кувшин к кресту, тяжело опустилась на траву рядом с могильным холмиком.

— Вот я и пришла, мой Алекси. Вино принесла тебе...

Помолчала, словно ждала ответа. Вздохнула тяжело.

— Хороший урожай этим летом, слава богу. Хлеба выросли по пояс. Вторую неделю жнем, умаялись все. Скоро закончим уборку. И овец много вырастили, и коз, и молодых телят... Только мужчин в селении не осталось, одни старики. Война, будь она проклята... Слушай, Алекси, я знаю, тебе оттуда все видно. Скажи, видал ли ты поле, на котором воюют наши мальчики? Как они там, крепко бьют проклятого дракона Гитлера, чтоб ему пусто было?! А может...

Машо не закончила фразу, словно бы споткнулась на слове. Ночной ветерок колыхнул листья деревьев.

«Молчи, жена. Отчего плачешь? Разве должна ты плакать? Помнишь, когда положили меня в эту землю, ты сказала: не бойся, мол, мой Алекси, наши дети не останутся сиротами, я заменю им отца?»

— Помню, Алекси, как не помнить! Но разве легко женщине сравняться с мужчиной? Откуда взять столько сил, сколько их было у тебя? Дом на мне, хозяйство на мне, поля и ферма — тоже на мне... И фронт — тоже на женских плечах! Слышишь, Алекси?

— Слыш-шш-шу, — отвечает ей родник голосом Алекси, — все слыш-шшу.

Машо разрыдалась.

— Пятеро твоих сыновей воюют, жизни не щадят

в битве с ненавистным врагом! Два года от них ни весточки... Думаю, может, что-то от тебя узнаю... Неужели у вас там тоже нет никаких вестей?

Молча теребила Машо концы черного платка, вслушивалась в ночную тишину. Ночь молчала, помигивая красноватыми звездами, вздыхая легким дуновеньем ветерка, приносящего горьковатый пыльный запах с убранных полей.

— Что замолчал, Алекси? Может, они уже там, с тобой? Ответ — хоть слово скажи! Если это так — зачем мне возвращаться в деревню? Ради них только живу. Скажи, Алекси!

В соседних кустах послышалась глухая возня, и мимо серой тенью проскользнул шакал.

Запричитала Машо, раскачиваясь всем телом.

— Дети мои! Неужели все пятеро ушли к отцу? Оставили меня, несчастную, доживать свой век в пустом доме?

«Машо, помолчи, что ты болтаешь? Ничего мне неизвестно. Налей-ка вина...»

— Скажи, Лексо, правду скажи, заклинаю, неужели никого не встречал?! Я каждому из них теплые носки вяжу, знаешь, там, в окопах, слякоть, холода...

«Никого не встречал, слава богу! Появился тут один из нашего селения, Вано Циклаури. А вообще много народу здесь, грузин тоже много. Все молодые, как наши с тобой сыновья. Спрашивал... они тоже ничего не знают про наших мальчиков».

— Бедный Вано! Он ведь побратим нашего Арсена. В Сигнахи вместе учились, помнишь?

«Как не помнить! Он в Доме крестьянина жил, вместе с другими сиротами, — глухо ответила тишина. — А помнишь Шалико? Маленького роста, беспризорник?.. Встретил его... недавно...».

— Горе какое, бож-же! Мальчик мой... Как любил его наш Арсен. Веселый был, ласковый, царство ему небесное...

Машо подняла глаза к светлеющему небу, перекрестилась и вылила вино на могильный холмик.

— ...Что ты сказал, Алекси? Про Арсена спрашиваешь? Я же говорила тебе зимой — три года наш сынок солдатом был. Далеко где-то, Хасан называется. Хорошо служил. Отпуск дали. Целых сорок пять дней!..

А у меня только и побыл, что два денечка. Увидал, что много солдат в поездах едет, собрался и уехал в свою часть. Там у них, на Хасане, беспокойно, оказывается, было... А через два месяца войну объявили. В последнем письме Арсен сообщил, что со своим танком прямо к Москве едет...

Она вновь припала к могильному кресту, будто обнимала живого Алекси, потом, тяжело вздохнув, поднялась и медленно, с трудом переставляя ноги, пошла вниз, к селению.

«Не такая я уж старуха, — подумала Машо про себя. — Почему же так тяжело стало ходить? Не вверх иду — вниз...».

Вспомнила, как соседка Нануци укоризненно и вместе с тем с состраданьем качала головой, когда они работали в коровнике:

— Зачем так убиваешься, Машико? Разве тебе не хочется дожить до победы, встретить своих мальчиков?

Машо помрачнела и, взглянув на соседку, процедила сквозь зубы:

— Не время сейчас щадить себя. Груз, который несли мой муж и мои мальчики, на мои плечи лег... Думаешь, боюсь умереть? Нет, моя Нуца! И все-таки я должна жить, все мы должны жить, чтоб выдержала страна...

В каждом доме в те дни женщины думали так же. Если не они, женщины, так кто же будет растить хлеб, кто обеспечит фронт мясом, одеждой, кто даст танки, страна...

Молча, сжимая зубы, вся деревня трудилась от зари до зари. Женщины не замечали собственной усталости, ходили, как тени, покачиваясь на ослабевших ногах. Но тяжелее всех приходилось Кобе Чохели. Ему, восьмидесятилетнему старику, горько было сознавать, что суровое военное время взвалило на женские плечи тяжелую ношу. С двумя такими же, как и он, стариками, днем и ночью трудился не покладая рук. Урожай, к счастью, был такой обильный, что требовал рук и рук. Где ж ты возьмешь их?! Ведь даже дети, забросив свои игры, выходили в поле, помогая вязать снопы, складывать их в одно место, где дядя Михо, без усталости гоня лошадей по кругу, обмолачивал пышные колосья, придирчиво оглядывая околот, не осталось ли зернышко-

другое, прежде чем разрешить девочкам отгрести солому в сторону.

Однажды кто-то из мальчишек проскакал по деревне, стуча палкой в каждые ворота и сзывая людей на собрание. Машо взяла за руку свою дочь Элико и направилась к колхозной конторе.

Вся деревня, и стар и млад, собралась там.

На крыльце стоял Коба Чохели, нарядившийся по такому случаю в черную чоху с газырями. На узеньком кожаном пояске с серебряной насечкой висел старинный кинжал. Коба, сложив тяжелые ладони на длинной серебряной рукоятке, молча смотрел на женщин. Видел их замершие суровые лица, посеченные ранними морщинами, черные вдовьи платки, надвинутые на самый лоб.

— Что же ты молчишь, сынок Коба! — раздался в тишине отчаянный крик столетней старухи Тэбро. — Скажи нам что-нибудь! Уж не добирается ли враг до наших домов?

Голос Тэбро взорвал тишину. Беспорядочно зашумели другие женщины:

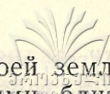
— Скажи правду. Если надо — и мы, женщины, возьмем в руки оружие!

— Может, трудно в боях нашим мужьям, сыновьям и братьям — ты скажи!

— Все пойдем, дома бросим, пойдем воевать!

Бедный Коба! Сильный и волевой человек, не привыкший показывать людям свое настроение, он с великим трудом скрывал скупые мужские слезы.

— Люди... — произнес си сдавленным голосом. — Свято верьте, что народ, творящий добро, победить невозможно. Пусть даже ценой крови — что делать, война! — но добро победит! Дорогие мои, не горюйте! Наши братья, наши сыновья крепко бьют врага... Но земля-кормилица нуждается сегодня в вашей помощи... Перед самой войной бригада Шалвы Кобаидзе посеяла больше ста гектаров пшеницы. Вы видите, созрела пшеница, колос уже на землю ложится, а у нас теперь нет ни комбайнов, ни тракторов, ни машин. Лучший наш водитель Вано Кобаидзе братьям на подмогу ушел. Все наши дети на фронте. Сами знаете, голодного человека победить легче. Если не будет у нас хлеба, мяса, сыра, голод одолеет нас. Если не будет шерсти — холод



заморозит нашу кровь... Мы-то с вами на своей земле как-нибудь прокормимся. Что будет с нашими близкими на фронте — без хлеба, без мяса, без крепких сапог, теплых шинелей?! Погибнут... А с ними придет черед умереть и нам... Знаю, все вы работаете от зари до зари, всем трудно, но наши солдаты должны знать: мы делаем все для их победы...

Он умолк. И все молчали, будто обдумывая слова председателя.

— Пойдем, Коба!

— Не будем терять времени! — раздалось отовсюду.

Коба повеселел, морщины на его лице, собранные до того в горестную сеть, радостно разбежались.

— Народ говорит: если женщина впряжется в ярмо — девять быков ее не удержат!..

И женщины Земо-Кеди принялись за работу.

И вот в жизни Машо настал день, ее шестой ребенок — Элико стала молча собираться в военкомат, Машо ничего не сказала. Только как-то особенно сжалось сердце. «Неужели и ее отнимет у меня война?».

Вечером Элико пришла домой, взглянула на мать печальными глазами:

— Сказали: врач нужен и на селе. Пусть это будет твоим фронтом!

Машо опять промолчала, только почувствовала, что невидимая рука, весь день сжимавшая сердце, разжалась...

* * *

Сколько печали и горя, оказывается, может вынести человек?! Сколько всего может вместить его сердце! Большое горе, как и большая радость, способны закалить человеческую душу.

Когда мать возвращалась с поля или с фермы, едва влоча от усталости ноги, ей казалось, что не сможет она больше встать с тахты. Но Элико, придя с медпункта, начинала хлопотать вокруг матери, приносила ей ужин, ласкала и приговаривала:

— Довольно, мама, отдохни, поспи. Береги себя. Хочешь, чтобы мальчики, вернувшись с войны, застали тебя больной?!

Этого она не хотела. Но разве могла Машо отды-

хоть, если ее сыновья постоянно стояли перед ее глазами. Она словно бы видела машину, мчащуюся по изрытому снарядами полю, и просила с тревогой: осторожней, сынок, не наскочи на мину! Иногда перед глазами ее возникали танки, и в переднем, несущемся в грозную атаку на врага, сидел второй сын, Шалва, и она уговаривала его быть осмотрительным, но не щадить проклятого фашиста. Когда в кинохронике боевой комиссар вел бойцов в атаку, она думала, что это — ее Николоз, и, закрыв глаза, шептала как молитву: смелей, мой Нико, да хранит тебя моя любовь! Больше всего она боялась за Сандро, который привык на своей бухгалтерской работе курить папиросы одну за другой. Не кури, сынок, — просила она, — брось папиросу, ночью огонек виден издалека... Только самого младшего, Арсена, никак не могла она представить на поле боя — он все еще представлялся ей мальчонкой, с ватагой сверстников гоняющим мяч по проселку.

Она искренне верила в то, что дети ее постоянно находятся рядом, и казалось, что поле боя похоже на широкую Ширакскую степь, где она вместе с пятью сыновьями день и ночь вершит гигантскую жатву. Только от ее жатвы выростали мозоли на руках, в кровавой же страде, которую вели ее сыновья, вместо колосьев на землю падали люди...

* * *

...В тот день ей что-то нездоровилось. «Ноги еле идут», — подумала Машо, приближаясь к воротам своего дома. Навстречу ей вышла Элико:

— Мама, не ходи вечером на ферму. Я подою коров. Потом забегу к старой Тэбро, отдам лекарство и сразу же вернусь.

Мать безмолвно согласилась.

Весь вечер возилась она в комнатах. Вынимала из сундука и раскладывала детские вещи, решая, что можно отнести соседским малышам. Многие штанишки и курточки были заношены до дыр, и Машо накладывала аккуратные заплатки. Когда в доме пятеро сыновей, одежда переходила от старшего к младшим. Среди одежды попадались и другие вещи. Вот ключ от машины Ваню, вот набор слесарных инструментов и гаечных ключей, с которыми не расставался Шалва. Протерла

их чистой тряпкой, спрятала на дно сундука — придет домой и пригодятся они ему. А вот вязаная шапка Арсену связала, когда ему было лет десять.

Машо спустилась во двор, присела на выступающий из-под земли корень дерева. Долго смотрела на толстый ствол огромного ореха, пытаюсь рассмотреть сквозь густую крону мерцающие звезды. Прямо над ее головой, с горизонтально росшей ветки свисали забытые качели, и ветерок тихонько раскачивал их. Вспомнив, как звенел во дворе детский смех, как сыновья взлетали на качелях под самые облака вместе с соседскими мальчишками, Машо зарыдала, упала на землю, запричитала:

— Ты ведь тоже мать, Земля моя! Ты самая великая мать на земле — Мать всего живущего. Пожалей наших мальчиков, спаси ни в чем не повинных детей!.. Жизнь устроена так, что сначала к тебе должны приходиться старики, потом — дети. Я самая старшая в доме, сделай же так, чтобы первой я пришла к тебе, а дети мои — каждый в свой час...

Злобный лай соседской собаки прервал ее рыдания. Послышался ржавый скрип калитки, кто-то тихо и нерешительно приоткрыл ее. Машо почему-то испугалась, по телу пробежала дрожь, кровь застыла в жилах. Тревожно заколотилось сердце, мысль о том, что это, возможно, пришел кто-то из ее мальчиков, пронзила ее. Тогда отчего же ей стало страшно? Надо вскочить на ноги, бежать, обнять родного человека!

Нет! Это чертово сердце забилося в предчувствии беды.

— Машо, — как удар грома, грянул где-то рядом голос почтальона Григола, который уже несколько минут все не решался окликнуть ее. Он ненавидел и проклинал себя за то, что приходилось приносить в дома горестную весть. — Машо, телеграмма.

— От кого? — выдавила из себя Машо.

Почтальон дрожащей рукой протянул ей листок.

— Николоз, Машо, Николоз...

Ее расширенные зрачки с мольбой уставились на старика, словно он был в силах что-то изменить.

— Черная, Григол, да? Черная?! — У Машо подкосились колени.

— Мужайся, Машо, мужайся! — тихо произнес Григол.

Машо подняла голову:

— Мужаться?! Ты приносишь мне смерть и говоришь — мужайся?!

Григол не смог вынести этого; как побитая собака, медленно вышел за ворота. Машо бросилась на землю и в иступлении стала колотить по ней.

— Будь ты проклята! Ты не вняла моей просьбе, окаянная. Я же просила: сжался, прежде возьми меня!

* * *

В канун воскресенья, несмотря на дождь, Машо пришла в селение Вечности. Деревянные кресты вздымались кверху, будто мертвые из-под земли протягивали к небесам свои руки.

Машо обняла крест на могиле Алекси и опустилась на колени.

— Почему, почему ты скрыл от меня, Алекси?

«Только что встретились, Машо... Не думай, мальчик теперь со мной».

Она обхватила руками раскисший от влаги могильный холмик.

— Тесно тут стало... Не голоден ли ты, мой мальчик? Как же это я пришла к тебе с пустыми руками! Сыночек мой! Почему ты дрожишь? Холодно тебе там? Я связала носки, принести тебе, сынок?..

* * *

На хлебных полях, на кукурузных делянках, виноградниках и фермах все больше становилось женщин в черном. Работая за мужчин, они мужественно несли на своих плечах все тяготы войны.

Однажды в обеденный перерыв Коба Чохели отложил в сторону ложку и сказал, обращаясь к женщинам:

— Уральский колхозник Феропонт Головатый все свои сбережения отдал государству — два самолета построили на его деньги. Сам на фронт ездил, вручил самолеты лучшим летчикам-истребителям, да, так вот...

— А мы чем хуже? — сказала Машо. — Давайте соберем кто что сможет. Я кольца принесу... свои и до-

чери... к свадьбе Элико хранила... ничего — свадьбы будут потом, после победы...

— Эх, только бы мой Ваню живым вернулся! — воскликнула Гогола. — Я обручальное кольцо принесу!

Вечером у колхозной кассы стояла очередь. Все торопились поскорее сдать свои сбережения. Надо построить танк, решили колхозницы, такой, чтоб до самого Берлина дошел.

Позже земледельцы получили из Москвы письмо, в котором Верховный Главнокомандующий благодарил их.

* * *

По утрам, собираясь на ферму, Машо слушала сводки Совинформбюро, и когда сообщали, что танковые соединения выбили фашистов из какого-нибудь города, она думала, что, наверное, их танк тоже принимал участие в этом сражении и что вел этот танк, конечно же, ее сын, Шалва...

Как-то утром, когда она кормила кур в своем дворе, разбрасывая корм из глиняной миски, до нее донесся вкрадчивый скрип калитки. «Кого это несет в такую рань? — сжавшись в комок, подумала Машо. — Не этого ли старого черта? Господи, хоть бы это был не он... С чего это он привязался ко мне?..»

С трудом заставила она себя повернуться и увидела горестные глаза Григола. Миска выпала из рук Машо, разлетелась на черепки. Испуганные куры, вздымая пыль, разлетелись в разные стороны.

— Черная?.. — Собственный голос показался ей незнакомым, словно из ее горла вырывались чужие звуки.

Григол положил телеграмму на веранду и молча заковылял к калитке.

— Кто?.. — простонала она.

Почтальон остановился, будто споткнулся, с трудом, словно к ногам его были привязаны камни, повернулся:

— Шал-ва-аа... Ша-лва-аа... несчастная!.. — И хлопнул за собою калитку.

— Горе мне, сынок! — Машо обхватила ствол дерева, прижалась лицом к шершавой коре.

Теперь в долгие осенние вечера она вязала только три пары носков. Тщательно вывязывала петли, деревянным молоточком размягчала грубые пятки, вкладывала

вала внутрь записки, четко выведенные рукой Элико: «Дорогой сынок, носи на здоровье». Машо думала, что носки обязательно попадут к ее сыновьям. «Сандро боится холода, — думала Машо. — Маленьким, бывало, прибежит с улицы, весь синий, дрожит...». Может быть, наденет он носки — и материнское тепло передастся ему. Хоть бы черкнул о себе две-три строчки, немогуту больше ждать.

...Долго не решалась Машо идти на могилу Алекси. Но однажды утром по первому снегу отправилась все-таки, пробивая тропинку в сугробах. Шла сгорбившись, под шалью прижимала к груди корзинку с мясом, сыром и кувшинчиком чаи.

Подойдя к могиле, сняла с головы шаль, отвела от лица волосы.

— Алекси, родной мой. Принесла вам домашней водки. Мальчикам, небось, холодно тут?.. — вылила водку на могилу, осенила себя крестом. Вдруг ей показалось, что могильный холмик затрясся, как человек в горьком рыдании.

— Не плачь, мой Алекси, что поделаешь?! Ушел, ушел наш соколик, наш Шалико... Поднимись на небо, скажи мне: до каких пор будет отнимать жизнь у молодых и здоровых? Почему не возьмет господь меня, старую, как и заведено... О тебе говорили: добрый человек. Почему же теперь ты так жесток? Шестерых детей оставил на женских плечах. Видишь, не уберегла я двоих, отняла их у меня война... — Она опустила на колени и стала сгребать снег с могильного холмика. Ей казалось, что вот сейчас, стоит лишь смести с могилы снег, явятся перед нею муж и дети.

— Что же мне остается делать? — причитала она, яростно сгребая снег. — Только с тобой могу поделиться своими муками, только тебе могу излить боль своего сердца...

«Четверо детей у тебя осталось, Машо, за ними присмотреть надо. Дочь замуж выдать, внуков на ноги поставить. Сама посуди, если все матери захотят в селение Вечности, кто же останется на земле?».

* * *

Сидя по вечерам за пряжей, Машо прислушивалась к шуму за окном. То проскрипит арба мимо ворот, то

проскачет Коба Чохели верхом на коне, то пройдет колхозное стадо. Эти звуки радовали ее, боялась она лишь одного: заливистого лая соседского пса Бачулы. Добрый пес никогда не лаял понапрасну, даже на волка, подбиравшегося к ограде, только рычал. Когда же Бачула лаял, надо было ждать беды.

Не ладилось вязанье в тот вечер у Машо, то и дело рвалась пряжа. Она связывала концы и вновь принималась за работу. Вдруг злобно залаял Бачула, и Машо почувствовала, будто саблей полоснуло по сердцу. Раскрыла настежь дверь и увидела ковыляющего по дорожке Григола.

— Будь ты проклят, черный вестник! — закричала Машо. — Только смерть приносишь ты в мой дом!

Григол захрипел, будто веревкой сдавили ему глотку. Он упал на колени, стал биться головой о землю, причитал глухо:

— Двое, двое ушли от тебя, несчастная! Сандро... Вано...

* * *

Правду говорят мудрые люди: у человека, как и у кошки, девять жизней.

Остаток зимы и всю весну Машо пролежала в постели. Настали теплые дни, и она решила: как только просохнет дорога, отправится к Алекси.

«Давно не говорила с ним. Ничего не знаю. Может, у него есть весточка от...»

Испугалась собственной мысли, замахала руками, прогоняя ее прочь. «Как же это только мой язык повернулся? Как только могла я подумать такое? Нет, нет! Мой мальчик!..»

Придя на могилу, она поставила корзину с крашеными яйцами и стала тщательно выпалывать траву с бугорка. Всю кожу содрала с рук, пока все до одной травинки не вырвала, потом присела на камень и уставдо спросила:

— Что нового, мой Алекси?

«Ничего, Машо. Слава богу, ничего. Знаешь, наши теперь сюда реже стали приходить. Все больше эти, немцы. Видно, скоро все прекратится».

Машо подняла глаза к небу и, не отрываясь, стала смотреть на желтовато-бурые сгущающиеся облака. Они

неслись и неслись вперед безмолвным караваном. Машо долго не отводила от облачного каравана глаз. Временами по лицу ее пробегала тень, временами — светлые лучи скрещивались на ее морщинистых щеках.

— Смотри, Алекси, смотри! Наши мальчики! Николоз... — с внезапной силой закричала она, протянув к небу руки. — Вано... Шалико, сынок... Сандро... Что же вы убегаете, дорогие мои? Подождите меня, подождите! Алекси, скажи пусть подождут меня...

— Тетя Машо! Тетя Машо!

Девушка в белом платье бежала к ней по тропинке, размахивая листком бумаги.

Что это? Неужели?

— Телеграмма, тетя Машо! Арсен...

Ветер отнес в сторону конец фразы.

Машо почувствовала, как тревожно забилося сердце, но не ощутила, как прежде, режущей боли, только резко перехватило дыхание.

— Черная? — простионала она, не веря в доброе предчувствие.

— Нет, тетя Машо, нет! — Девушка поднесла к ее глазам плотный листок бумаги.

«Мама! Войне конец. Скоро буду дома. Твой Арсен».

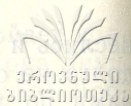
Она подняла глаза к небу. Солнце ослепило ее. Вокруг него быстро собирались какие-то ослепительно белые воздушные облака, громоздились друг на друга... По деревьям и по макушкам кустов пробежал упругий прохладный ветер.

— Слышишь, Алекси? Наш мальчик жив! Арсен возвращается!

«Слышу-уу!» — громовым раскатом отозвалось откуда-то сверху, среди облаков сверкнула стрела молнии, грянул гром, и по солнечным струнам торопливо и порывисто пробежали сильные пальцы дождя...

Авторизованный перевод Валентины ДОЛЬНИКОВОЙ





Отар ЧИЛАДЗЕ

РАДИ ЖИЗНИ

БОЛЬШИНСТВО народов, сохранивших свое существование до наших дней, прошло почти одинаково сложный, одинаково тяжелый путь духовного закаливания и противоборства с судьбой. Однако, слегка видоизменив известное высказывание великого писателя, можно сказать, что все народы счастливы по-своему, по-разному, то есть противостоят безжалостному течению времени в высшей степени самобытными, выработанными в одиночку средствами и методами. Противоборство с судьбой и сохранение самобытности всегда останется главнейшей и благороднейшей потребностью любого народа, пока будет существовать человечество, а забывший об этом — погибнет, исчезнет с мировой арены как народ, как обладающий собственным языком, психикой и традициями независимый организм и, поэтому, как неотъемлемая, кровная частица остального человечества, поскольку своей самобытностью и неповторимостью тот или иной народ не только не противопоставляется целому, то есть всему остальному человечеству, а в меру своих возможностей обогащает его, добавляет в общую «семейную» картину именно ту краску, производить которую природа научила лишь его и без которой общая картина утратит полноценность.

* Статья Отара Чиладзе «Ради жизни» была опубликована с сокращениями в «Литературной газете» (17 февраля с. г., № 7). Предлагаем полный текст статьи.

Осознание этого не только пробуждает к жизни любой народ, но, в то же время, и придает его существованию благородный смысл. Вероятно, именно здесь таится исток того неопределимого, божественного блага, в силу которого мы с неизменной гордостью заявляем: я — грузин, француз, немец, финн или китаец. Если бы не это, сама жизнь потеряла бы смысл и мы все стали бы «спокойно» дожидаться конца, вернее, уже вообще перестали бы ждать чего бы то ни было, предоставили бы жизни идти своим чередом, отдались соблазнительному течению собственной безнравственности, безрассудству или оказались бы в рабстве у тех пороков, борьба с которыми пока что считается главной и первейшей обязанностью каждого истинного человека и подчинение которым означает пренебрежение не только нашим собственным существованием, но и жизнью вообще.

И сегодня, в эпоху атома, когда человеческий разум в конце концов все же допустил возможность уничтожения жизни на Земле, в конце концов все же смирился и сроднился с этой устрашающей мыслью, национальная проблема остается, возможно, одной из наиболее сложных, до конца не постижимых и до конца не разрешимых проблем, поскольку она тоже — одна из тайн природы и, разумеется, от желающих постичь ее требует в первую очередь знания природы. А это знание, как известно, не обретается изучением только природоведческих наук, — необходимо углубиться в свою душу, познать самого себя, в результате чего мы становимся намного лучше и, главное, намного могущественнее: лучше — хотя бы в том смысле, что теперь равно сочувствуем страданиям и мукам как льва, так и бабочки; могущественнее — поскольку для любой борьбы не может быть оружия лучше, чем знание.

Однако знает ли современный человек больше о самом себе и, исходя из этого, о природе, чем знал вчера? Во всяком случае, он знает неизмеримо меньше того, что знать необходимо и для него самого, и для жизни вообще, в то время как более чем следует информирован о разных мелочах (физические данные того или иного спортсмена, семейная жизнь той или иной эстрадной певицы и т. п.), которые для его существования играют весьма незначительную роль или вообще никакой роли не играют. Чем иначе можно объяснить безграмотность выпускников вузов, самозабвенное, почти трагическое стремление к сложным престижным профессиям, пугающее обилие мертворожденных инженерных проектов... В наш век зна-

чительная часть человечества уже легко обходится без таких духовных наставников, как книга и вообще искусство. Многие из включенных в школьную программу литературных произведений школьники не читают, а усваивают с телеэкрана, к тому же вместе со своими учителями и родителями. Не обучаются, а развлекаются. Телевидение сегодня для большинства стало единственным источником «знаний» и «образованности», а произошло это из-за того, что мы оказались не готовыми для воспитания современного человека. Желаемое намного превзошло наши возможности, и в спешке мы вообще забыли о предназначении и обязанностях современного человека: быть ли ему в плену той или иной грандиозной инженерной конструкции — или служить прекрасному; должен ли он стать еще одним обычным «технократом», для которого даже разговор на гуманитарные темы представляется признаком отсталости (что лишь способствует развитию глобального провинциализма), или еще одним мыслящим по-новому инженером, относящимся к природе с терпением учителя и внимательностью врача. Таких инженеров сегодня, к сожалению, приходится искать со свечой и, возможно, не дождемся их и завтра, если с самого начала не внушить каждому, кто хочет стать инженером, любовь к природе, к географии и истории своей страны, если одновременно с техническими знаниями не дадим ему образование литературное, музыкальное, художественное, то есть, если наряду с глазами разума не откроем ему зрение души, не приобщим к культуре, начиная со своей, родной, и кончая общечеловеческой. В противном случае вместо ожидаемого добра он неизбежно принесет непредусмотренное зло.

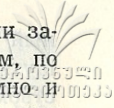
Разумеется, нельзя обобщать любые личные недостатки, однако и скрывать их неоправданно, поскольку личное скорее может перерасти в общее, чем наоборот. Так что, сокрытие личного—это всеобщее преступление, особенно в наши дни, когда неосторожно сорванный в любом лесу листочек, любой загрязненный родник может стать роковой утратой для всего мира. Однако здесь же следует сказать, что нас, грузин, всегда отличало несколько поверхностное, несколько легкомысленное, так сказать, артистическое отношение к жизни. Мы предпочитаем обмануть себя, чем признать, что нам больно. Стесняемся показаться кому-то угнетенными, стыдимся обнаружить слабость, бедность, любой свой недостаток или нужду, которые могут возникнуть порою и не по нашей вине. Поэтому на сторонний взгляд мы можем показаться даже чересчур жизнерадостными и веселыми,—тогда как грузином о грузине

сказано, что он — дитя трагедии! Хорошо это или плохо, трудно сказать, однако это воистину так и поэтому не столь уж интересно. Интереснее определить, меняется ли вообще национальный характер с течением времени, или, точнее сказать, что сохраняется в нем, а что навсегда уносит время.

Все сущее изменяется, однако не само по себе, а вместе со всем остальным; соответственно, все изменяется вокруг него и потому эти изменения столь трудноуловимы для глаза, что равносильны неизменности. Скажу больше: мне кажется, что характер народа вообще неизменен, устойчив, пока этот народ существует. Сам народ подчинен течению времени, природным или жизненным явлениям, но не его характер! Для народа видоизменение естественно и постольку закономерно: он мельчает или крепнет, богатеет или нищает, делается красивее или некрасивей, становится выше или ниже (японцы, к примеру, в последнее время целенаправленно заметно прибавили в росте). Но, к счастью, неизменно главное: японец остается японцем, русский — русским, англичанин — англичанином, грузин — грузином и т. д. И все же, по-моему, национальный характер народа не является неким застывшим, раз и навсегда сформировавшимся феноменом. Правда, он формируется на том или ином этапе истории народа, однако, подобно любому другому процессу, происходящему в природе, формирование это происходит постоянно: к национальному характеру что-то добавляется или что-то от него отмирает, сливаются с ним навечно или на время те или иные, характерные для эпохи черты и приметы, однако ни «прибавки», ни «потери» не могут изменить сути **основного**, скорее они сами попадают под влияние этого основного и со временем превращаются в его неотъемлемую, а порою и необходимую частицу. Действительно, не приведи господь характеру какого-либо народа измениться настолько, чтобы изменения легко было разглядеть каждому. Это было бы равнозначно гибели народа; хотя, возможно, физически он и продолжит свое существование, однако уже не будет в состоянии создать какую-либо духовную ценность (что, по моему убеждению, является первейшим доказательством жизнеспособности), поскольку для созидания недостаточно одного только желанья или даже соответствующего таланта, — необходимо и отличное от всех других мировоззрение, и самобытное восприятие окружающего. А это, как известно, относится к духовному миру народа, то есть принадлежит к святой святых, к сфере, куда чужому взору доступ должен быть закрыт, поскольку там хранится тайна предназначения, жизнеспособности и бессмертия

народа — душа души нации! — что является ничем иным, как тремя сказочными птичками, спрятанными в коробочку, которая хранится в желудке самого быстрого и неуловимого оленя, символизируя сущность, здоровье и жизнь (в данном случае — народа), поскольку за их гибель неизбежно следует ослепление, обессиливание, а затем и гибель народа. Все сохранившиеся до наших дней народы одинаково полноценны и неповторимы, и исчезновение любого из них в равной мере обеднит, обездолит человечество. Поэтому, чем более совершенствуется техника и чем шире раздвигаются границы массовой культуры, тем осторожнее надлежит быть всем нам, чтобы ни на мгновение не забывать о тех заточенных в коробочку трех птичках, то есть о нашем родном языке, психике и традиции — святой троице, благодаря которой утверждается основа основ, сущность сущности и смысл смысла личности, что попросту называется национальностью и национальным самосознанием.

Однако на сей раз главное для нас заключается в том, насколько стоит гордиться подобной «стабильностью» нашего характера, может лучше было бы хоть ненадолго позабыть о грузинской беззаботности и в полный голос, во всеуслышание кричать о наших болях?! А болит у нас многое, накопилось с годами, поскольку в свое время, как видно, не смогли обратить на эти боли должного внимания, точнее говоря, не оценили их как следует ни в свое время, ни затем. Зато впоследствии не раз приходилось горько сожалеть об этом, и что еще хуже, искать утешение в безадресных жалобах. Насколько я знаю, до сих пор ни с кого не спросили, например, за сооружение Ортачальской ГЭС, «погасшей» с первого же дня своего существования и напоминающей скорее абсурдный памятник, чем электростанцию; за уничтожение виноградников Дигомской опытно-селекционной станции и собственно Дигоми, исторического предместья Тбилиси, которое само по себе является памятником истории, и на месте которого теперь воздвигается еще один микрорайон, еще одно архитектурное микрочудище, подобное другим микрорайонам, которые поглотят Тбилиси, изменят его подлинный облик, его характер, обычаи и традиции; за игнорирование государственного языка если не во всех, то в большинстве учреждений и организаций республики, за разрушение прибрежной полосы моря и за судьбу сметенных лавинами деревень, которых становится все больше — по причине, как предполагают, неосторожного «покорения» некоторых горных рек. Лично я, разумеется, не считаю себя компетентным во всех этих вопросах, однако могу с полной ответственно-



стью заявить, что не имеют абсолютно никакого смысла ни за-
поздалые сожаления, ни неопределенные жалобы, допустим, по
поводу того, что, скажем, лет сорок назад мы так бездумно и
непредусмотрительно опустошили наши горные районы, так
бездушно оторвали горцев от родной среды, в результате че-
го, оказывается, в природе возникло много отрицательных яв-
лений. А что мы думали?! Почему считали, что природа про-
стит нам все, что ее терпение окажется безграничным? «Луч-
ше поостеречься заранее», — сколько времени уже учит нас
поэт, но главное не в том, кто и чему нас учит, а то, чему в
состоянии научиться мы сами. Так вот, не дай бог, если лет
сорок спустя еще кто-нибудь прекнет теперь уже непосред-
ственно нас с экрана телевизора за сооружение Транскавказ-
ской железной дороги — разве это поможет тогда что-либо
изменить? Правда, и сегодня по этому поводу мы тревожимся и
много спорим, но, на мой взгляд, в этом споре нам всем необ-
ходимо проявить больше серьезности. Я думаю, для дела было
бы неизмеримо полезнее, чтобы сначала специалисты более чет-
ко уяснили себе все плюсы и минусы этого сооружения, до-
казали, убедились бы в его необходимости для завтрашнего дня
Грузии (поскольку вопрос стоит так локально), оправдали бы
жертвы, на которые неизбежно придется пойти при таком мас-
штабе строительства, и только после этого вынесли столь се-
рьезный вопрос на всенародный суд. Пока же создается впечат-
ление, что для самих авторов проекта не до конца осмыслены
цель и идея этой воистину грандиозной стройки.

Говорить сегодня о пользе железных дорог даже неудоб-
но. Человечество давным-давно осознало их значение и, если
хотите, назначение, и то, что они прочно заняли свое место не
только в природе и жизни, но и в литературе, и хотя их нель-
зя считать транспортом будущего (как бы их ни улучшали и
совершенствовали), представить без них наше будущее, конеч-
но же, невозможно. Само собой разумеется, что я имею в ви-
ду и Грузию, которая по густоте железнодорожной сети, как об
этом недавно сообщалось в прессе, оказывается, намного пре-
восходит средний общесоюзный уровень. Если к тому же
вспомнить, что Грузия и по плотности автомобильных и воз-
душных дорог не уступает среднесоюзному уровню и к тому
же располагает еще и морскими путями, то как будто обсто-
ятельства не должны заставлять нас торопиться. Однако, к со-
жалению, все же проявляется поспешность, я бы сказал, не-
терпение, что, естественно, лишает наши соображения убедит-
ельности, более того, делает тот или иной аргумент, призыва-

ный переубедить оппонентов, похожим порой на неудачную шутку. Разве можно объявлять железную дорогу лучшим средством борьбы против браконьеров? Но если бы даже это и было так, разве не лучше было бы все же, чтобы браконьеры подстрелили одного-двух фазанов, зайцев или даже ланей, чем сорвать их с насиженных, привычных мест, переполошить весь животный мир! Несерьезно выглядит и заявление о том, что, мол, если строительство железной дороги повредит какой-либо исторический памятник, мы немедленноотремонтируем его. Разве ремонт означает защиту и охрану? Я думаю, что на этот раз мы имеем дело со смешением функций, однако кстати хочу сказать, что несмотря на благородную самоотверженность некоторых энтузиастов своего дела, если нашим историческим памятникам чего-то не хватает, то это как раз охраны. Говоря откровенно, памятники главным образом охраняют себя сами, силой своей уникальности и неповторимости. А наилучшим их защитником все же является всеобщая, всенародная культура. Чем культурнее человек, тем глубже он убежден в бессмертии и всемогуществе памятников, тем более осознает, что памятники — не только свидетельство его прошлого, но и гарантия будущего. Исходя из этого, осознание необходимости существования памятников равносильно их защите, пониманию того, что они необходимы сегодня, как и любое достижение цивилизации и техники. Поэтому еще более заставляет задуматься, когда и в наши дни, перед нашими глазами и в нашем присутствии гибнет много уникальных памятников, бесследно, безнадежно исчезает с лица земли, оставляя после себя невозполнимую, вечную пустоту в душе не только сегодняшнего человека, но и того, кто родится завтра и послезавтра, кому еще только предстоит появиться на свет. Все, созданное человеком, является общенародным достоянием, а общенародное достояние — это богатство всех и каждого. Хотя бы в силу этого не должно удивлять, если в связи с любым значительным начинанием, подобным хотя бы той же Транскавказской железной дороге, возникают различные точки зрения. Иначе невозможно себе представить, — гражданской пассивности и равнодушию, конечно же, следует предпочесть столкновение и борьбу мнений. Великие сооружения минувшего всегда связаны со столь же великими именами, но, если говорить искренне, разве есть у нас сегодня такие инженеры, такие строители, чтобы мы даже не поинтересовались, каким чудом собираются они сохранить

мир «олenenка» и «сухого бука»¹, мир поэзии Важа Пшавела вообще, когда современная техника развернется во всю мощь на этом маленьком клочке земли. Человеку свойственно всегда с сомнением следить за техническими новшествами, и его нельзя осуждать за это недоверие, поскольку он — человек и во всем стремится найти человеческое, не веря и не принимая ничего нового до тех пор, пока не «очеловечит» его.

В Грузии существует одна глубоко поэтическая легенда об инженере, который якобы ошибся в инженерных расчетах и покончил с собой. Народ наделил героя легенды глубоко человеческими слабостями и, что самое главное, способностью трагических переживаний. Он кончает самоубийством, решив, что совершил ошибку, и тоннели, идущие навстречу с разных концов перевала, не встретятся друг с другом. На самом деле, оказывается, все у него было рассчитано с точностью часов. Однако главное здесь — отношение народа к инженеру и, если угодно, к технике вообще. Народ желает, чтобы инженер — этот современный волшебник, чудотворец, укротитель машин — прежде всего был человеком; ошибался, сомневался, волновался, предпочитал позору — смерть. Эта легенда, на мой взгляд, является напоминанием и о том, что желающим идти вперед необходимо сначала оглянуться назад. Нарушился старинный уклад жизни, и наши крестьяне лишились и всех своих накопленных в течение времени знаний и опыта, — сетует один японский писатель, — семья перестала быть семьей, отец — отцом, а сын — сыном. Весьма примечательные слова, тем более, что принадлежат они представителю такой страны, как Япония, где техника доведена почти до фантастического уровня. Говоря об экологических проблемах, он не прибегает к аргументам о всемогуществе техники, а озабочен судьбой семьи, если можно так сказать, возвращается вспять и высказывает всеобщую, всечеловеческую озабоченность относительно того, что современная жизнь подорвала основу даже такой надежной, такой многократно испытанной твердыни, какой была семья, чей фундамент укрепляли глубоко человеческие взаимоотношения и еще более очеловечивающие обычаи и традиции. Человек как личность фактически формировался в семье. Семья неизменно действовала параллельно школе и, благодаря двум этим мощным воспитательным феноменам, человек оказывался несравненно более подготовленным к жизни, к утверждению и

¹ Имеются в виду произведения Важа Пшавела — «Рассказ олененка» и «Сухой бук».

продлению жизни, чем, скажем, сегодня. И все же, сказать, что современный человек не борется ради жизни, не стремится всемерно утверждать и продлевать ее, было бы с нашей стороны несправедливо. Но есть борьба и борьба. Существуют неправильные, уродливые формы борьбы за жизнь, а поскольку они существуют, то человек, разумеется, в случае необходимости пользуется и ими, опять-таки, во имя жизни. Недостатком современного человека (недостатком, а не виной!) является, в первую очередь, все же то, что он не сумел своевременно разобраться в исключительно серьезных процессах, происходящих в жизни, суть которых состоит ни в чем ином, как в преобразении самой жизни и воспитании нового человека. А растерявшегося человека трудно обвинить, и словом не убедить его, что он совершает роковую ошибку, когда на месте вырубленной лозы разводит арбуз якобы для улучшения жизненных условий. Ради жизни борется человек и тогда, когда осушает болота и возводит заводы. Однако, если осушение болот вызывает гибель лесов, а химические заводы создают угрозу такому, к примеру, чуду природы, как Байкал, подобная борьба в конечном счете может потребовать в жертву саму жизнь.

Между прочим, любой исторический памятник также является выражением борьбы за жизнь, разумеется, благороднейшим, поскольку не несет ничего, кроме хорошего. А мысль о сохранении жизни, продолжении жизни, вообще о судьбах жизни — одна из древнейших и сложнейших мыслей человека, начиная с тех времен, когда он впервые ощутил скоротечность своего бытия и неотвратимость смерти. С тех самых времен мысль эта питает тайные страхи и сомнения человека, это она посылала Гильгамеша на поиски травы бессмертия и она же сегодня нависла над головой каждого из нас, подобно грозовой туче. Ведь сегодня человек неизмеримо ближе к пропасти небытия, самоуничтожения, чем когда бы то ни было. Однако следует поставить вопрос о том, естественно ли, закономерно ли сокращать расстояние между человеком и обителью вечной тьмы, или жадность, глупость и малодушие побудили его за какие-то мгновения пройти расстояние, рассчитанное на века. «Число совершенных ошибок велико», и для одного их перечисления у нас нет ни времени, ни места. Но следует сказать хотя бы то, что если человечеству суждена гибель, то это произойдет от руки человека, а не по воле природы, и не потому, что человек накопил сверх всякой меры термоядерного оружия, а потому, что с устрашающей стремительностью мельчает и становится бессильной его личность, с та-

ким трудом возвращенная на протяжении столетий. Что и говорить, разрушать легче, чем созидать, однако печально и огорчительно то, что в наши дни неизмеримо больше орудий и средств уничтожения, чем у наших духовных отцов на заре истории было средств созидания. Еще печальней, что созидание неизменно было связано с муками, болью, терпением, самоистязанием, тогда как разрушение сопровождается расцветом земных усад и удовольствий, доходящих почти до безумия.

Но мы тем не менее должны сделать все ради сохранения жизни, что, в первую очередь, и означает сохранение нашей сути, нашей самобытности. Так что ни у кого из нас нет права «спокойно» ожидать конца, поскольку отдельное, изолированное существование ныне не только недопустимо, но и невозможно. Современный мир стал настолько маленьким и тесным хотя бы даже в сравнении с миром минувшего столетия, что в нем почти не осталось места для частных и личных проблем. Если где-то высохнет одно дерево, нам всем в равной мере останется меньше тени. Техническая революция, хотела она того или нет, сделала всех нас соучастниками, вернее, мы вынуждены и обязаны бдительней следить за действиями друг друга, и не ради одного только удовлетворения соседского любопытства, но и с целью самостраховки, чтобы не оказаться неподготовленными к очередным сюрпризам природы или техники. Человечество накопило уже достаточный опыт того, к каким печальным последствиям приводит почти любая его попытка нарушить извечный порядок природы. Следовательно, изменение русла любой реки, прокладывание тоннеля сквозь любой перевал, понижение уровня воды в любом озере — явления глобальные и решать их сепаратно, в узком кругу, не говоря ни о чем ином, попросту невозможно. Поспешное, поверхностное и, самое главное, равнодушное отношение к подобным проблемам ничем нельзя оправдать. Так же неоправданно и, на мой взгляд, даже неловко, когда о подобных явлениях мы узнаем только тогда, когда уже невозможно ничего изменить, или благодаря чуду или счастливому случаю удастся избежать неизбежного. К примеру, наши читатели только недавно узнали из газет, что, оказывается, грузинские реки будут по-прежнему течь в своих старых руслах или что «соответствующие ведомства» не снесут с лица земли грандиозный пещерный комплекс монастыря Давид Гареджи, этот поистине уникальный памятник, без которого, по всей вероятности, невозможно судить вообще о культурном прошлом мира. Однако до тех пор, пока нас волнуют подобные проблемы, есть смысл и жить

и бороться. Современный человек ни в чем не уступает человеку любой другой эпохи. Больше того, современный человек поставлен в более сложные жизненные условия, прежде всего благодаря стремительному, головокружительному темпу развития техники, многое он должен первым принять или отвергнуть, утвердить или выкорчевать, из-за чего он в сравнении со своими предшественниками выглядит более испуганным, более растерянным и, если угодно, даже более безнравственным. Но никто — ни современные, ни будущие его судьи не смогут сказать, что он якобы был ни на что не годен и потому завершил так бесславно свою жизнь. Человек, к какой бы эпохе ни принадлежал, в конечном счете простодушное создание в самом лучшем смысле этого слова — он верит, забывает, примиряется, ждет, надеется... Так что не его простодушие — преступление перед лицом бога и мира, а то, что сам он злоупотребляет этим глубоко человеческим свойством. Человек и боязлив (но не труслив). Оказывается, ему свойственны все разновидности страха, в том числе и «филологический». Однако страх, как бы человек его ни стыдился, предстает все же подтверждением человечности, в то время как техническая смелость, вполне возможно, доведет его до уровня обыкновенного робота. Так что пока мир взбудоражен и созданные талантом и старанием человека ценности с катастрофической скоростью обесцениваются, лучше все же филологический страх, чем инженерная лихость, тем более, что никому заранее неизвестно, что и чем может закончиться, окажется ли прогрессивное по-настоящему прогрессивным, или обрушит на наши головы новые беды. Не далее как вчера многие уверяли в гарантированной безопасности атомных электростанций, но чернобыльская трагедия перевернула все эти представления. Что и говорить, происшедшее в Чернобыле — великая трагедия для Украины, и не для одной лишь Украины, но представьте, если бы нечто подобное произошло в такой маленькой стране, как, скажем, Грузия! Не только часть ее, что само по себе невосполнимая потеря, но вся она целиком была бы уничтожена. Поэтому не будет ничего дурного, если к нашему научно-техническому энтузиазму мы подбавим и немного «филологического» страха, задумаемся над тем, насколько целесообразно мерить все одной меркой. Разве необходимо для Грузии быть могучей индустриальной державой наподобие, скажем, Соединенных Штатов Америки?! Мы — виноградная страна, виноградарство у нас древнейшая историческая отрасль, проникшая в кровь и плоть, и ничего нет в этом ни постыдного, ни тревожного. Постыдно

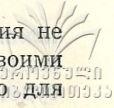
и тревожно как раз сойти с пути наших предков и наброситься на лозу с топором. Порубленная лоза истекает кровью как дого из нас, вернее говоря — кровью человечества, и выбраться из моря крови будет невозможно, наоборот, чем больше пройдет времени, тем больше будет возрастать тяжесть вины, тем яснее увидим мы ужасающий масштаб своего греха, рядом с которым убийство ребенка или обесчещение старухи может показаться кому-то шуткой ангела. Время в данном случае не только не излечит старые раны, а лишь усугубит их, чтобы когда-нибудь хоть кто-нибудь осознал, к чему приводит тупость, невежество, подчинение плотскому зову и слепое подражание другим. Лоза для грузинского крестьянства всегда означала нечто большее, чем любой источник дохода. Лоза была для него и «хлебом насущным», и духовным наставником. По забыв прошлое, мы в то же мгновение отвергаем будущее. Поэтому прежде всего мы должны сознавать, кто мы и каково наше назначение, чего хотим и насколько соответствуют наши возможности нашим желаниям. Так же необходимо знать, или хотя бы представлять себе, кем мы станем завтра, какие изменения может претерпеть наш духовный строй вообще в соответствии с происходящими в жизни переменами. Невозможно сегодня не сознавать почти определяющего значения технического прогресса не только для сегодняшнего, но и для завтрашнего нашего благосостояния. Невозможно сегодня не предусмотреть, какую разрушительную силу приобретет завтра массовая культура, если мы хоть однажды забудем, что она, в первую очередь, противостоит личности в нашем существе и ценою легкодоступного, быстропреходящего удовольствия лишает нашу душу того самого света, который, подобно гему, передается нам предками, как богатство каждого из нас, которое копилося бог знает сколькими поколениями на вечно неприбранном, неиссякающем, как сама природа, щедром столе первых и вечных патриархов искусства, столе, на котором, в отличие от других, обычных столов раздается пища, предназначенная исключительно для души, для духовного голода, однако не для утоления, а для еще большего обострения этого голода, поскольку именно обостренный духовный голод изгоняет зверя из нашего существа и словно дождевая вода — след копыта, потихоньку, постепенно заполняет оставленную им пустоту, светом рембрандтовской кисти, опизариевского орнамента или звуком клавиши, тронутой пальцами Моцарта. Это те имена, которые в пору массового ослепления человечества могут заменить выпуклые знаки азбуки Бройля и вернуть пер-

возданный свет, звучание и запах таким необходимым, насущным, как воздух, понятиям, как человеколюбие, добродетель, милосердие, благо, любовь...

«Концерт — не проповедь», — заметил один современный американский композитор, и слушатель должен самостоятельно мыслить, делать выводы. Но чтобы уметь делать необходимые выводы, нужно соответствующее воспитание, образование, культура. Говорят, будто современная музыка пагубно воздействует на молодежь, но, мне кажется, это искусственно придуманное чудовище, неспособное причинить какой-либо вред, если только мы сумеем установить с ним соответствующие отношения. Этим я хочу сказать, что никакими пороками нас не одолеть, если мы духовно устойчивы. Это, разумеется, вопрос весьма серьезный, касающийся такой значительной сферы, как семья и школа, общество и социальная среда, то есть все то, с чем сталкивается каждая новая жизнь и что в конечном счете предопределяет ее будущее. Так что почти определяющее значение имеет, каким будет наше детство, — ведь в нем зреет и наша старость. В детстве закладывается тот духовный костяк, прочность которого определяет наши личные качества, степень нашей человечности, что, как уже было сказано, дает нам возможность вступать в разумные отношения, допустим, с современной музыкой, телевидением, массовыми зрелищами...

Духовный костяк прежде всего уравнивает нашу волю, оберегает наш внутренний порядок и, попросту говоря, создает все условия, чтобы мы не могли нажать хотя бы на кнопку телевизора, не взвесив последствий этого, прежде, чем окажемся в рабстве у сверкающего обманном светом экрана. А это зависит только от воспитания, от подготовленности современного человека к современной жизни.

Существует тысяча разных методов воспитания и, разумеется, нелегко сразу выбрать лучший из них. Однако, я глубоко убежден, что именно сегодня особое значение приобретает традиция, ее правильное восприятие и осовременивание. К сожалению, мы часто превращаем традицию в музейный экспонат, чем как бы выражаем к ней глубокое почтение и уважение, что отнюдь не соответствует действительности, так как хранящаяся при специальной температуре в витринах музеев на бархатных подушечках, освещенная особым светом, традиция мертва и бесполезна, она становится подобной художнику, которого, увенчав за прошлые заслуги, в то же время лишили права рисовать. Традиция — не только вчерашний день, но и наше будущее, вернее, только с ее помощью сумеем мы перейти в зав-



тра, не потеряв ни своей сути, ни своего облика. Традиция не только учит жить, но обязывает жить в соответствии со своими требованиями и установлениями, то есть жить не только для того, чтобы существовать, но посвятить жизнь осуществлению определенной цели, вере и мечте. Традиция представляет собой основу национального, так же как национальное — основа культуры. Потому все, выходящее за рамки традиции, равно небезопасно как для души, так и для нравственности, поскольку противопоставляется прежде всего именно национальному, культуре. Как это ни странно, классическая музыка усиливает в нас национальное самосознание. Эта великая странность классической музыки в то же время наглядно подтверждает или, вернее, постоянно напоминает, что, оторвавшись от национальных корней, искусство не обретет общечеловеческой ценности. Зато может стать общечеловеческим недугом, которому мы можем противопоставить опять-таки лишь национальную традицию и культуру. Так что, если человечеству впрямь суждено погибнуть, тогда, возможно, и мы бы задумались на мгновение, не лучше ли атомная катастрофа, чем гибель омерзительным путем перерождения и деградации. Однако, пока мы дышим, святейшим и тяжелейшим долгом каждого остается спасение жизни, сохранение этого божественного дара. У нас нет ничего драгоценнее жизни и, в то же время, она принадлежит не только нам, но и тем, кто уже умер, и тем, кому еще только предстоит родиться. Подобно олимпийскому факелу, переходит она от поколения к поколению, чтобы пронести в вечность человеческую боль и радость.

Это, однако, вовсе не значит, что у жизни нет «теневых» сторон. Она бывает ужасающей, невыносимой, бессердечной, жестокой, равнодушной, скупой, грубой, бессовестной... Но, в то же время, невозможно представить, сколько может принести радости, облегчения, гордости, счастья одно-единственное слово сочувствия, с трудом проглоченная слезинка сострадания, щедро разделенный ломоть хлеба, любое проявление самопожертвования... Это — тоже жизнь. И горе тому, кто захочет выклевать только хорошее из жизни — ее надо принять такой, какая она есть, не убоившись ее уродства и грязи, поскольку лишь преодолев их, сможем мы приобщиться к прекрасному и святому. Не было эпохи, в которую хоть раз не прозвучало бы сетование на падение нравов. Это тоже истина, и это — выражение основной приметы жизни. Я уже говорил о том, как меняется народ во времени. Само собою разумеется, что этим изменениям подвержен и отдельный человек, однако не следует

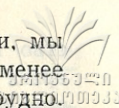
понимать, что человек, бывший хорошим вчера, сегодня окажется дурным, — нет, но вчерашний плохой человек сегодня будет выглядеть еще хуже. Это тоже свойство жизни, прогрессивно усиливающей любое свое проявление, поскольку для нее, в отличие от нас, все одинаково приемлемо — и хорошее, и плохое. Так что первый Хулиган, родоначальник этого «направления», по сравнению с сегодняшним хулиганом мог бы, наверное, показаться непорочным агнцем, однако и он в свое время, наверно, так же раздражал общественность, как раздражает сегодняшний. Но, конечно же, нельзя вину за все перекладывать на жизнь. Она на свой лад стремится к совершенству, ради этого тысячу раз преображая любое существо, посредством которого выражает себя самую, поскольку ее целью, в конце концов, является создание той наилучшей, окончательной модели, которая лучше всего подойдет к любому времени и любым обстоятельствам. Но человек все же существо особое. Правда, для жизни и он лишь одна из моделей, то есть сначала и на него возлагалась лишь задача воспроизводства себе подобных, следовательно, продолжения жизни, но, случайно или сознательно, он в отличие от всех остальных оказался наделенным даром мышления, вследствие чего просто обязан за многое нести личную ответственность.

Достаточно перелистать газеты (имею в виду газеты любых направлений, выходящие в любом уголке планеты), чтобы в глаза бросились страх и растерянность, овладевшие человеком в наше время, можно сказать, впервые после Гильгамеша, ощутил он так явственно угрозу гибели, исчезновения, понял, как легко может случиться то, что вчера еще было лишь возможностью, предположением, умозаключением или даже просто политической угрозой. Это открытие, естественно, напугало человека, а страх подорвал прежде всего веру в себя, в свой завтрашний день. Человек же без веры — не человек; вернее, уже не человек, ибо вера не просто облегчает (облегчала) ему существование в этом тысячекратно разгаданном, казалось бы, и все же так и не разгаданном до конца мире, а обязывает (обязывала) существовать. Существование, ставшее обязанностью, и предопределило все благородные свойства человеческой души, такие, как твердость, терпение, способность прощать; ставшее обязанностью, то есть сознательное существование, является для человека единственно приемлемой разновидностью существования вообще, что само по себе равносильно героизму, поскольку просто биологическое существование не имеет для него никакой цены. Человек, утративший веру, становит-

ся самым главным врагом самому себе, он сразу же начинает рубить тот сук, на котором сидел еще его прадед и на котором должен был сидеть и правнук, если бы дело пошло иначе. Еще более огорчительно, что у него пока даже не закралось сомнение в правильности своих поступков, в которых он видит единственный выход из собственного бессилия и ослепления. Утрата веры порождает самый коварный и опасный недуг. Я бы назвал его эрозией души, поскольку человеческая душа, подобно почве, тоже тяготеет к запустению, распаду, утрате способности к оплодотворению и рождению. Так что главной угрозой для человечества лично я считаю эрозию души, явные симптомы которой, к сожалению, уже заметны и с каждым днем приобретают систематический характер. Однако вместо утешения хочу заметить, что это болезнь столь же древняя, как и сам человек и, подобно многим трудноизлечимым заболеваниям, ей свойственно проявлять некоторое снисхождение: сама она не опережает человека, то есть не возникает, пока человек сам не создаст ей необходимые условия и поле деятельности. Как видно, виноватым опять-таки оказывается сам человек, и он же должен нести ответственность, поскольку до сих пор не осознал, как сурово карается любая его забывчивость, как много горя и бед обрушивается на его голову, едва только он забудет о своей человечности, то есть качестве особом, выделяющим его из всех других существ и, самое главное, полученном из рук самого господа бога. И впрямь, достаточно человеку на мгновение закрыть глаза на смысл и назначение своего существования, как Пандора тотчас обрушивает на него тысячу хворей и бед из своего ящика. Более того, даже самые как будто прогрессивные, самые гуманные для своего времени его идеи настолько искажаются, что становятся не только отвратительными, но и опасными. Разве сексуальная свобода подразумевала поначалу свободу выбора пола?! Надо ли говорить, что и эмансипация вовсе не предполагала «омужчинивания» женщины и наоборот. Хотя подобные стремления и существовали, возможно, в природе всегда. В конце концов, были ведь и амазонки, отрезавшие себе грудь, чтобы лучше, совсем по-мужски натягивать лук. Но они все же всегда оставались женщинами (их предводительница даже родила Тезею сына), сохранявшими для мужчин свою женственность, этот поистине божественный дар, без которого мир, раньше или позже, все-таки рухнет, даже если запасы ядерного оружия не будут превышать одного грамма. К сожалению, подобная опасность существует на самом деле — противоестественное стремление сравняться с

мужчиной лишило женщину главного — обожателя. По собственной воле спустившись с пьедестала, сооруженного руками мужчин исключительно для ее красоты, она сразу стала равноправным, но рядовым членом общества, тогда как, по глубоко моему убеждению, достойна неизмеримо большего, хотя бы как созидательница жизни. Вся пятнадцативековая грузинская литература, можно сказать, проникнута преклонением перед женщиной, перед ее величием и всемогуществом, однако, женщиной, сознающей свою особую обязанность, которую трудно сформулировать и определить; вернее, только ей самой под силу осознать ее до конца врожденным женским чутьем, поскольку нам, обычным смертным, словами ее не определить. Разве мы знаем, какова обязанность солнечного луча, рассветной звезды или весеннего ветра? Но самим своим существованием они украшают нашу жизнь. Такова (или была такой) и женщина. Разве можно, видя ее хлопочущей на кухне, испытывать чувство опасности или тревоги? Разумеется, нет! Зато может ли не овладеть нами это чувство, если она колет ломом камни или шлепает по плантации в резиновых сапогах.

Многие современные пороки являются всеобщими, всечеловеческими и, я убежден, они волнуют и пугают одинаково всех, однако самая страшная угроза — все же опасность потерять женщину. Эта опасность появилась намного раньше, чем, скажем, была создана атомная бомба, однако она содержит в себе гораздо большую разрушительную силу, чем любая бомба. Эта опасность появилась, казалось бы, в самое спокойное, самое человеческое, самое упорядоченное столетие. Однако нацелена она именно против покоя, человечности и порядка, поскольку вечность жизни предопределяют именно здоровые, естественные отношения противоположных полов, а не, скажем, плотская разнузданность: таинство брака, слияние в единое существо, а не превращение этой священнейшей и величайшей тайны в обыденное развлекательное зрелище; и, наконец, извечное, неудержимое стремление к противоположному полу, а не бунт против собственного пола. Мы ничем не можем удивить природу — в лаборатории этой неутомимой выдумщицы и несравненной изобретательницы создано тысячи разных чудес и странностей, однако, шутки природы — одно, а признание этих шуток закономерными и обыденными — другое. Как видно, и в природе, и в жизни вечным и прочным является лишь тьма, свет же приходит и уходит. И у нас нет иной возможности, надо дожидаться света. Надо верить, что человек вовремя одумается и примет все меры для противостояния



любому недругу. Конечно, ополчившись на другие болезни, мы не вправе забывать и о войне, — поскольку эта болезнь не менее опасна, чем любая другая, и избавиться от нее не менее трудно. Еще Геродот не мог представить глупца, который бы войну предпочел миру, но с тех пор человечество почти ни одного дня не прожило без войны. Война же прежде всего разрушает гармонию природы, что представлялось вопиющей несправедливостью и алогичностью тому же Геродоту, который, конечно же, и в малой степени не мог представить себе масштабов, до которых дошли современные войны. И все же я считаю преступным любой разговор на эту тему — даже упоминание этого страшного чудовища льет воду на его мельницу. Защищаем мы или отрицаем, в обоих случаях даем ему возможность господствовать над нашей психикой, находиться в нашем существе, словно затаившись, как паук в щели, откуда он выскакивает с внезапной стремительностью на любое колебание давным-давно протянутой им и равно для любого неосторожного и глупого насекомого предназначенной паутины. Главное преступление, которое несет война, состоит в том, что прежде всего она уничтожает личность человека и умножает человекоподобных зверей, обратное очеловечивание которых (если это возможно вообще) требует гораздо более длительного времени, чем подготовка еще одной новой войны. Восстановление разрушенного театра или храма еще возможно, но в душе видящего их разрушение человека рушится, и к тому же навсегда, нечто более значительное — рушится гарантия того, что существует на свете хоть что-то неприкасаемое, незапятнанное, святое. И вот я вынужден вновь вернуться к традиции и вере, поскольку человек только с их помощью вернет покинутые позиции, — если вообще способен их вернуть. Традиция — единственная надежная плотина, которой по силам противостоять всем дурным и опасным влияниям современности. Вера же — то единственное оконце, благодаря которому обитатели темницы еще могут хотя бы изредка вдохнуть глоток свежего воздуха и мечтать, сколько захочется, о свете, просторе, небесах... Главное, чтобы всегда был кто-то, кто может во всеобщем мраке найти и распахнуть это оконце. Этот некто может обнаружиться в любом из нас, это не имеет решающего значения. Главное, чтобы он существовал, подобно агнографическому святому, мог собственным примером напомнить остальному человечеству, какое великое благо человечность и сколь мало, незначительно все остальное в сравнении с ним. У человечества всегда были, есть и будут недремлющие, жестокие и неустанные враги. Однако человек-

ство и впрямь не будет достойно жить, если существование врага собьет его с пути, заставит разрушить семью, забыть покойников, разлюбить детей, отвернуться от книги и унижить женщину, а потом утопит в стакане, одурманит наркотиками и швырнет на отвратительные лохмотья вырождения и отупения.

На моей родине пили тост и за врага, наряду с родными и близкими, поскольку для грузина существование врага (а врагов у нас всегда было много!) прежде всего добавляло сил, поднимало на новую борьбу. Подобный обычай или обряд, наверное, был у всех народов, наверное, это и помогало достойно противостоять всем опасностям. Поскольку сегодня по воле провидения во всем необозримом космосе именно нам суждено нести имя и достоинство человека, мы обязаны соответствовать этой поистине величайшей чести и, как бы трудно ни было, не согнуться под ее тяжестью. Я по профессии писатель и поэтому оптимист. Вернее, я просто не могу представить себе обезлюдившую Вселенную, однако осторожность никогда не мешает. Поэтому давайте вовремя займемся (кто как может) возрождением человеческого духа, вновь насадим леса добра, любви и милосердия, чтобы завтра или послезавтра возрожденным пластам души вновь вернуть способность принимать в себя и возвращать семя. Пока женщина рождает, жизни не угрожает опасность. Перед женщиной бессильна даже водородная бомба, бессильны и любые пороки. Только не поймите меня так, будто я не вижу или не признаю их губительную мощь. Всем своим существом я отвергаю наркоманию, алкоголизм, сексуальную распущенность, однако не считаю их достойными того, чтобы противопоставить жизни. Тогда и сама жизнь не была бы достойной защиты. Они будут опасными только тогда, когда от человека, то есть от мыслящего тростника, останется один лишь тростник.

Перевод Эдуарда ЕЛИГУЛАШВИЛИ

Гурам БЕНАШВИЛИ

Хроники волнующих дней

ПРОЗА Маки Джохадзе — интеллектуально-медитативного характера, она являет собой образец редкой искренности. Взволнованная, исполненная светлой печали, исповедальная интонация делает эстетическую структуру ее рассказов глубоко оригинальной. Утонченность ее женских чувств овеяна пьянящей романтикой грустных мелодий. Сердечная печаль, рожденная угасающей любовью, стереотипом человеческих взаимоотношений, холодом одиночества, пронизывает хронику безрадостных дней. Персонажи Маки Джохадзе тяжело идут по жизни, тысячи мыслей одолевают их, мыслей не только о завтрашнем дне, но и о прошлом, потому что именно в прошлом затерялся тот неиссякаемый источник, что питает душу человеческую.

«На фоне красных осенних листьев меланхолическим пейзажем возникли видения детства. Подобно снежку, Саба сжимал в руке огромный холодный клубок воспоминаний и чувствовал, что его немедленно надо бросить в кого-нибудь, иначе тепло его тела, растекаясь, проникнет в душу и вмиг развеет эти видения, как весна — зиму». Рассказ «Спасенный пейзаж» исполнен внутреннего драматизма. В нем даются блеклые, размытые картины однажды перенесенного горя, вызванного семейными конфликтами. Есть в этом рассказе что-то от настроения «Женщины в платке»¹. Наверно у разочаровавше-

¹ Новелла классика грузинской литературы Н. Лордкипанидзе.

гося в жизни, лишенного элементарного сострадания человека ничего другого, кроме как самоубийство, не остается. Ибо чувство собственного достоинства не дает ему смириться с равнодушием окружающих, которое приходит вместе со старостью.

«Смерть бабушки выхватила из темноты полный странных тайн шатер. Холодный мерцающий луч как бы намеренно повернул Сабу к маленькой комнатке, в которой жила неутешная старая женщина, и заставил пожалеть об ее одиночестве... Бабушка умерла. Приоткрылась завеса над тайной, за которой так легко было увидеть обиженную душу. А Саба давно знал эту тайну, знал, но не придавал ей значения, как это обычно свойственно детям. Поэтому ни разу не обмолвился, ни разу не дал никому почувствовать, что является единственным владельцем этой тайны». Главный герой рассказа внутренне не приемлет жизненный фарс, разыгрывающийся перед ним. Есть в его образе, на первый взгляд, бездеятельном, пассивном, нечто от мстителя. Он — как бы бунтарь от природы, корни которого изъедены и иссушены собственной греховностью, причем бунт его не направлен против кого-либо, это, так сказать, грех в себе, мучимый неутолимимым желанием самообличения. Огромной бесформенной массой возвышается перед Сабой отвратительный лик человеческого греха. Мальчику трудно полностью осмыслить его скрытую закономерность, поскольку пантомимное искусство действительности безжалостно пресекает бесхитростный поиск скрытой его мысли. Безропотная смерть бабушки потрясла внука, неизбывное чувство греха не оставляет его.

«Что моя жизнь после этого... теперь я все время должен бояться, как бы кто не сказал: что это за человек, если мать его бросилась в воду...». Это уже горестные мысли отца Сабы, полностью подчиненные невыносимому чувству утраты. Проходит время, и Саба теряет отца. Новое горе заставляет мальчика глубоко задуматься над жизнью, переоценить нравственные ценности. Его окружение психологически несовместимо с ним, ибо жизнь его близких несет на себе печать бессмысленности. В ней иссякли красота романтического восприятия мира и возвышенный дух рыцарства, которые должны вывести из затхлой духоты раздраженного, утомленного фразерством мальчика и приобщить его к тишине усеянного звездами неба. «Самая нетерпеливая звезда срывалась с небосклона и, падая на землю, едва мерцала, и Саба спускался с облаков...». Он вспоминает дни, проведенные с отцом. Его мужской инстинкт воскрешает в памяти такие нюансы из жизни отца, которые рождают в нем эмоции, близкие раскаянию. В памяти всплывают

картины недавнего прошлого с их первоначальной безгрешностью. Интересна причина раздражения мальчика, приглашенного на день рождения друга. «Саба не находил себе места в этой празднично убранной комнате, где дети угощались дорогими яствами и где от их веселого гомона слегка покачивались хрустальные подвески на пламенеющей люстре». Дело в том, что безжизненные чучела животных и птиц, гордо взиравшие со стен комнаты, — свидетельство бессмысленного увлечения главы семейства — воскресили в его памяти образ безжалостного убийцы живой природы. Ему страстно захотелось поделиться с отцом своими мыслями. Он верил, они не оставили бы равнодушным отца.

Пришел день, когда уставшая от жизни мать объявила ему о своем решении выйти замуж. Саба почувствовал удивительную пустоту во всем своем существе. «Потерянный, он бродил, как лунатик, по шумным улицам, тусклый дневной свет обнажал пупырчатую поверхность безобидных предметов, прикосновение к которым рождало в нем чувство гадливости, точно так же как прикосновение к прозрачной медузе». Саба прекрасно знает, что бессмысленно бороться с выстрадавшим матерью решением, знает он и то, что, терпимый по натуре, он никогда не смирится с этим тяжелым уроком жизни. Несмотря на очевидную туманность медитаций, этот отрывок рассказа написан выпукло и впечатляюще.

«В существе мальчика упрямо теплилось благородное желание любить» — это несмотря на то, что его мать стала женой ненавистного ему человека. Отца его ближайшего друга «осчастливила» женщина, бросившая семью. Дружба мальчиков дает трещину, и это наполняет их сердца страхом. Глубокая пропасть по ту сторону их дружбы, бессмысленность жизни заставляют глубоко задуматься маленького друга Сабы. Находясь во власти странных видений, мальчик стреляет из ружья в проходившую мимо девочку в пальто с воротником из белой куницы. Состояние мальчика граничило с беспамятством, когда он с балкона своего дома увидел только куницу и не увидел девочки! Разумеется «преступник» получил по заслугам. Еще одна сцена, ранящая душу, разыгрывается перед Сабой. В воображении убитого горем мальчика возникает весьма примечательная картина — «покинутый среди искусственной зелени зала отец Тэдо впервые в своей жизни думает об убитой им горной индейке». Представим, что Тэдо — невольный убийца девочки, а его отец или отчим Сабы — искусный мастер по превращению животных и птиц в чучела, и нам станет ясной

символичность этой картины. Обесценивание добра и любви, естественно, приводит к трагическому концу, и человек, потрясенный отрезвляющим холодом трагедии, запоздалыми покаяниями совести, тщетно пытается залечить свои раны.

Возвращаясь домой, Саба охвачен одним-единственным стремлением — стремлением к суровой правде воспоминаний. Он всю жизнь носил их в себе, чтобы когда-нибудь с кем-нибудь поделиться и, согретый сочувствием, отправиться на поиски добра, которого так жаждала душа.

«Саба спешил теперь за незнакомым путником, идущим под открытым небом, чтобы догнать его, коснуться, заглянуть ему в лицо и поблагодарить за спасенное в детстве добро, которое живительным нервом бьется на израненной земле».

Весь рассказ пронизывает желание автора определить нравственные ориентиры. Развитие его сюжетной структуры упорядочивается не столько действиями персонажей, сколько их внутренними монологами и авторской мыслью. Именно поэтому отраженное в сознании героев чередование времен подчиняется упрямой воле их собственных же страстей. Нарушение хода реального времени делает еще более напряженным психологический настрой героя или явления, тем самым воссоздается дух той нервной атмосферы, пульсация которой столь близка тонко чувствующей душе автора.

«Самые сочные, самые румяные фрукты приносят именно сюда, именно им. Бесплодная попытка передать этим временно или навсегда изолированным людям ядерность плодов, и все же... Быстрее всего здесь вянут и портятся гранаты. Где вы, художники?! За какими миражами гонится ваша фантазия?! Смотрите! Как стыдливо выглядят на тумбочках больных грузинские фрукты — французские натюрморты! Почему вы не бросите вызов волшебной кисти смерти, которая так тихо, не спеша и незаметно крадет у нас краски жизни?!». Увиденная под таким ракурсом печальная обстановка больницы придает рассказу «У порога», пронизанному столь трепетным духом, своеобразную настроенность. Здесь все ясно и обнажено. Мака Джохадзе с искренней непосредственностью любящей матери показывает нам состояние своей души в самый волнующий момент, когда стоит на страже жизни собственного ребенка. Рассказ — как сейсмограф, регистрирующий все движения сердца, мысли и чувств писательницы. Перед матерью и ребенком, ожидающими врача у порога приемной, встают грустные лица пациентов, их покорные позы вызывают жалость и сочувствие. Царящая вокруг напряженная тишина настраивает

человека на размышления — лирический монолог героини заряжен внутренним зарядом. Его лейтмотив — любовь к ребенку. Болью в сердце многих и многих отзывается может быть не до конца осознанный материнский грех. «По вечерам, когда я возвращаюсь домой, а Ануки уже спит, это — один-единственный предмет, который может рассказать мне, чем занималась до сна моя маленькая барышня, в мое отсутствие — сиротиночка». Этот предмет — небольшой табурет — постоянный спутник начавшего ходить ребенка.

С трепетной болью передано состояние ребенка, которого потряс поступок уличного продавца жареной кукурузы, выместившего свою злость на несчастной собаке. В течение целого месяца ребенок видит один и тот же сон. «Что это было? Действительно сон или преждевременно проснувшийся инстинкт — служить защитой всем слабым и беспомощным?».


Непосредственность лирических чувств, пронизывающих рассказ, приводит читателя к важному открытию: внутренний мир ребенка — ничто, если в центре его не находится самое родное и поразительно обиденное существо — мать. Эта мысль звучит в простом, на первый взгляд, но таком глубоком назидании врача: «Знаешь, что я тебе скажу, вот такой у тебя ребенок. Конфетка, яблоко, огурец... это все любят, но это все ерунда. Сядь! Сядь! Ничего не поделаешь! Такой он, твой! Ему не лекарства нужны! И Цхнети ему не помогут. Его лекарство — это ты. А теперь иди!» Вот какой диагноз ставит врач, внося смятение в сердце матери. Заключительный аккорд рассказа, благодаря своей искренней интонации, звучит как призыв остановиться, оглядеться, задуматься над тем, что в своем желании угнаться за радостями жизни мы часто лишаем своих детей единственно надежного пристанища — своей души: «Куда вы спешите, молодые мамы? Какое солнце и море завладело вами с такой силой? Какие камни обещают согреть ваши разгоряченные тела? В какой дурманящей долине мерцают ваши звезды? Куда вы спешите, молодые мамы?!».

Еще один рассказ писательницы согрет необыкновенным лиризмом — «Найти божью коровку». В нем, может быть, впервые действительность предстает преломленной в сознании такого безгрешного существа, как божья коровка. Это прекрасное украшение нашей поэзии «примерила» и проза, и оно стыдливым шепотом доверило ей свои сокровенные мысли. «При моем появлении, — с едва заметным удовольствием рассказывает она (божья коровка — Г. Б.), — даже у тех, кто никогда ничего не теряет и ничего не ищет, возникает желание

потерять что-нибудь и обратиться ко мне с просьбой помочь найти утерянное. Чаще всего я встречаюсь среди людей ищущих и каких-то потерянных. Вся моя жизнь уходит на поиски пропажи, и на спине у меня ровно столько горошин, сколько я обнаруживаю их за день. И чем больше горошин, тем чаще я слышу: ох, и красавица же ты! Писаная красавица! И именно тогда, когда мое тело становится таким пестро-красивым, мной овладевает отчаяние, берет такая тоска, что кажется, не выдержу, если не поговорю с кем-нибудь». Этот рассказ и есть осуществление этого неодолимого желания. Хорошая божья коровка с искренней отзывчивостью откликается на просьбы всех, кто нуждается в ее помощи, понимая насколько ценно то, что стремятся найти они. Весьма забавны ее рассуждения о достоинстве одного-единственного зуба, утерянного старухой. Почему оплакивает старуха уже не нужный ей зуб — единственный и неповторимый? «Просто, когда ты смеешься или горестно зеваешь, открытый рот зияет чернотой. Луны ты не видишь, вернее не чувствуешь ее, и единственный луч в этом мраке именно этот зуб, я отгадала?».

Хорошая по натуре, она, естественно, стремится утешать бесправных, сострадать им. И к ночи утомленная добрыми деяниями божья коровка теряет последнюю горошину, и ее прозрачная оболочка начинает «отвратительно блеснуть», как у жука. Но в этот момент печального преобразования перед ней предстает маленькая девочка. Плача, она просит помочь ту, которая сама нуждается в помощи. Собрала последние силы, божья коровка находит мать плачущей девочки и в восторге сливается с небесной бирюзой. «Я ничего не помню, ни о чем не думаю, ничего не знаю, но помню, думаю и знаю, что я счастлива... И еще я знаю, что непременно вернусь на землю. Вернусь, чтобы найти тебя, маленькую госпожу, нет, я не прикину к твоей руке или лбу, как это обычно делают с обыкновенными господами, я посмотрю на твою головку, коснусь своими трепетными губами места, откуда исходит нежнейший аромат молодой ивы, сырой земли и рая, — аромат родничка, и вдохну в тебя душу». Вот, оказывается, на что способна обыкновенная божья коровка из доброго рассказа «Найти божью коровку». Писательница, и это знаменательно, посвятила его матери.

Присущий творческому воображению Маки Джохадзе поэтический драматизм особенно четко проявился в рассказе «Мальчик с шоколадом», рассказывающем о жизни городской семьи, которая подобно многим другим семьям с кажущейся



легкостью тянет свою лямку. Жизнь этих умудренных опытом людей и в этом случае исполнена внутренних конфликтов. И вновь жертвой их страстей выступает ребенок, маленькая девочка, не сознающая безысходности собственного положения. Ей, выросшей без матери, слишком поздно открылась тайна превратной судьбы — открытие не потрясает ее, не утешает красивыми иллюзиями. К ней в школу часто приходит женщина, которую ведет сюда непреодолимый материнский инстинкт, но в сознании девочки уже выцвели картины раннего детства, запечатлевшие образ матери. «Она страдала, но все же была согласна вот так, уткнувшись лицом в колени женщины, слушать и слушать ее надтреснутый, печальный голос, ее покаянные рубленые слова о том, что она не виновата, что она тайком навевалась к ней, своей единственной дочери, что не она оставила, а ее заставили оставить маленькую Маню». Почти год длились эти тайные встречи, но им был положен конец бабушкой, воспитавшей девочку. Поразительно логично и искренне желание ребенка разрядить сложную ситуацию, в которой оказались все трое. Идеальным поводом для сближения хотя бы на миг двух самых дорогих ей существ маленькой Мане рисуется собственная смерть от отравления шоколадом, который принесла ей мать. «Как пух, она осела бы у них перед глазами, и бабуле было бы уже не до ссоры, они обе пали бы перед ней, мертвой, на колени — мама и бабуля, и именно в этот момент восстановилась бы их странная близость. Именно в этот момент поразительно одинаковы по вкусу и цвету были бы слезы обеих женщин».

Мне редко приходилось встречаться с подобной апологией матери. «Что могла ответить эта опозоренная женщина на гневные слова бабушки, замученной холодной правдой жизни. И вот воображение ребенка покрыло маленьким теплым подолом стоящую перед ней беспомощную предательницу, которая все же называлась мамой... девочка боялась, что эта женщина, высохшая, истощенная, до сих пор не произнесшая ни звука в ответ на это слово (бабуля назвала ее сукой), не ответит, нет, не заплачет, а завоюет, завоюет самым страшным, самым жутким образом. И тогда... тогда, уж будьте уверены, все перемещается на свете. Этот вой ужаснет все живое, разом замрет весь класс, улица, город, вся страна. С грохотом рухнут все башни, все дома, все убогие и тяжелые строения. Высохнут морского цвета бассейны и на дне их затрепещут золотые обманщицы-рыбки. Пересохнут реки, замужутся ручейки, исчезнут моря и озера. Вмиг пожелтеет сочная зелень лесов, где

еще жив хрустально-чистый воздух. Высохнут вишни и ябло-
ни, золотая нива не родит хлеба. И на земле, превращенной в
сплошные огромные расщелины земле негде будет ступить че-
ловеку. Зияющие голодные утробы этих расщелин поглощают в
первую очередь те отвратительные слова, которые опорочили
женщину, а затем все остальное — и любимые книги девочки,
и ее друзей, и одноклассников, иные из которых тихо выброси-
ли, а иные поспешно возвратили «мишки», принесенные ма-
терью. И уцелеет только один мальчик, ничем ранее не при-
мечательный, худой курчавый мальчик, который собрал под
пальцами конфеты, поджав под себя ноги, уселся на пол и на-
чал есть их у всех на глазах».

Было бы неправильно думать, — писал Фрейд, — что
ребенок несерьезно относится к выдуманному им миру; напро-
тив, игра в воображение отнимает у него много души. Ему при-
ходится преодолевать сопротивление не серьезности, а дей-
ствительности. Несмотря на все свои увлечения ребенок пре-
красно ощущает разницу между собственным миром и реаль-
ностью и старательно ищет точки их соприкосновения. Почти
то же делает и поэт. Он создает мир, к которому относится
очень серьезно, то есть привносит в него свою увлеченность
и в то же время резко отмежевывается от действительности.

Жизнь маленькой героини Маки Джохадзе — своего рода
игра воображения. Ее невинные эмоции рождены не беззабот-
но-счастливой жизнью, и потому ей остается только одно —
уйти от действительности. Грозная волна медитаций ребенка
поразительным образом стихает перед простодушной непри-
ступностью измазанного шоколадом мальчика, не сумевше-
го осознать истинного смысла этой конфликтной ситуации.

Автор рассказа прекрасно понимает, что и в художествен-
ном воображении жизнь следует своим законам, что бывшие
боли и горести и здесь дают о себе знать. Горестным воспо-
минанием для героини рассказа является самоубийство матери,
которая, не вынеся тяжести того рокового дня, бросилась в
воды Куры. В результате с течением времени у бабушки не
могло не родиться сомнение в собственной правоте или острое
желание покаяться. И уже больная, но гордо пронесшая сквозь
годы свое упрямство, она на мгновение преклоняет колени пе-
ред внучкой и затаенной в ее душе болью. Прости меня, про-
сит она, целуя ее бледные руки. И даже «в момент этой сла-
бости она выглядела удивительно сильной. Может быть пото-
му, что верила и знала, в свой последний час она как свечу
получит прощение от возвращенной ею девочки».

Далее рассказ получает неожиданное, но внутренне притягательное развитие. В апокалипсических видениях маленькой героини лишь один образ дышит первозданной чистотой — это тот самый объевшийся шоколадом мальчик, которого отличило среди многих пронзенное таинственными лучами любви сердце девочки. Страницы, посвященные их любви, написаны с удивительным вдохновением. Чистая, исполненная внутреннего трепета лиричность девушки гармонирует с мужской сдержанностью юноши. Истоки их чувства — в детской бесхитрости, которая доверялась словам, идущим от сердца. Потому оно так прочно и возвышенно: «Все, кого я знала, кому нравилась, кто любил меня, или кто нравился мне, пытались говорить со мной о высоких материях... А пришел ты, и, знаешь, ты пришел не сверху, не с неба, нет, ты с земли пришел, снизу... Стоял себе, засунув руки в карманы, и говорил. Я прислушалась к твоему разговору, даже не знаю, почему, и поняла, что означает: «Дуб — большой цветок»: ты говорил о земле и, может, потому я взлетела к небу».

Оказывается, и сегодня возвышенной душе не чужды романтически искренние мелодии, и наши на редкость очерствелые сердца с их умеренным биением могут откликаться на них. Четкая композиция рассказа, смелая и в то же время естественная форма повествования придает истории этой возвышенной любви законченный вид: герои живут одной счастливой семьей. На чердаке их дома хранятся картины, написанные юношей, и среди них одна, пожалуй, самая дорогая ему: «На крепостной стене, заваленной яствами, как султан, скрестив под собой ноги, сидит мальчик и ест шоколад. Поодаль теснятся дети, смотрящие на него кто с завистью, кто со страхом. От их группы вот-вот должна отделиться девочка в розовом платье. Она делает шаг — ее маленькая красивая ножка еще не коснулась земли. Увидев картину, вы совершенно справедливо назовете мальчика жадиной или обжорой. Но как назвать тот первый шаг, который разлучил девочку с детством?» Прелесть этого рассказа составляют нравственная чистота персонажей, их бесхитрость, наивность, естественная непосредственность, с которой они исполняют свои роли, навязанные им волей автора.

Рассказ «Камешки, брошенные в мертвую лужу» — печальная повесть о жизни молодой художницы. Может быть, редко кому удавалось с такой достоверностью рассказать о той поре в жизни женщины, когда в ней преобладают усталые краски осени. Семейная идиллия осталась для героини краси-

вой мечтой, и поэтому грустная инерция повседневности захватила ее всю без остатка. Монологическая форма повествования позволила раскрыть перед читателем мир женских инстинктов и интересов. Бессмысленное одиночество чрезвычайно обострило способность героини к анализу и воображению. Приобщенная к сложным формам городского быта, она с женской непосредственностью переживает собственную инфантильность, возвращаясь памятью к красивым картинам прошлого. На одной из них в золоченой раме — портрет дорогого ей человека. Любовь к нему никогда не затухала в ее сердце, она всей душой стремится к нему, понимая, впрочем, что это ее чувство корбит респектабельное общество и делает ее предметом насмешек.

Этой необычной любви посвящены довольно пространственные пассажи, необычной скорее потому, что возлюбленный героини имеет любящую жену и детей. Героиня борется за создание своего семейного уюта, который хочет построить на обломках чужого счастья. Внутренняя раздвоенность подавляет героиню и вместе с ней ее любовь. Высокая интеллигентность и большая любовь к искусству — ненадежное убежище. Холодная реальность ускользающего чувства наполняет болью изверившуюся женскую душу. «Мы стали мужчиной и женщиной. Сердце сжимается в тоске, когда я вспоминаю о своем девичестве, проведенном без тебя... Всю ночь идет снег. И я, подобно этому снегу, всю ночь безмятежно рисую... В сумерках рассвета постепенно вырисовывается мой первый автопортрет». Очень интересен эпизод, в котором корреспондент молодежной газеты беседует с героиней об искусстве и мастерстве художника. Весь этот пассаж прекрасно отражает самобытный интеллектуальный мир писательницы, и я глубоко убежден, что ее рассуждения интересны и с профессиональной точки зрения. «— Лично я, — отвечает она на один из вопросов, — люблю этого художника (З. Нижарадзе — Г. Б.) за то, с какой серьезностью подходит он к изображению женской груди. Так основательно хорошие художники рисуют только пейзажи. Кроме того цвет у него — никогда не самоцель. Цвет у него — мировоззрение. Помните его «Утро»? Там изображены две женщины — молодая и пожилая. В соответствии с возрастом их торсы и, в частности грудь, дают вам почувствовать упругость или рыхлость тела. Но изображение груди обеих женщин объединяет молочный туман, вернее, цвет вечного рассвета. Это тот цвет, который содержит в себе (подразумевает) вечную, непреходящую функцию женской груди». В этом же интервь

1959
1993

меня заинтересовала интерпретация героини творческих новаций молодого поколения художников, которые все настойчивее дают о себе знать. «Острое чувство тоски по родине на родине — такова судьба моего поколения, как это ни странно. Наше поколение интересно в первую очередь именно тем, что в эпоху так называемых мировых стандартов в процессе освоения чисто художнической техники оно пытается спасти себя, вернее, то лоно, из которого возникло, откуда началось».

Образ главной героини рассказа написан исчерпывающе как в бытовом, так и в социальном и психологическом плане. Ее видение мира обусловлено особенностями ее характера и духовной жизни. То есть тем, что, со своей стороны, проявляется в процессе повествования. Это видение в меньшей степени отличается определенностью и категоричностью, которые вообще характерны для «всезнающего» автора и являются его прерогативой. Таким образом ситуации рассказа в своем развитии дают основание для многозначных и многосторонних интерпретаций.

Между прочим, весьма интересен стилистический принцип этого рассказа Маки Джохадзе, как впрочем и многих других. Диалоги персонажей служат здесь не только развитию сюжета или выражению их мыслей и чувств. Слово персонажа приобретает дополнительное значение, оно свидетельствует о напряженной духовной жизни его носителя, о потаенных движениях его души. Таким образом обнажаются глубинные мысли и чувства, и мы постигаем тайные связи между происходящими на наших глазах явлениями.

Не оставляет равнодушным читателя судьба близкой подруги героини. Изведенная неурядицами семейной жизни, она несколько раз травится. И несмотря на это героиня считает ее счастливее себя. «Кто ждет меня, кто во мне нуждается?!» Этот вопрос преследует обреченную на одиночество женщину. Нет такой силы, которая смогла бы развеять эту недобрую мысль. И когда подруга, находящаяся на грани между жизнью и смертью, произнесет странную фразу: «Если бы я была уверена, что после моей смерти он женится на тебе, я бы умерла со спокойной совестью», она испытывает нечто похожее на потрясение. Свое состояние она сравнивает с мертвой дождевой лужой. Как от брошенного в нее камня расходятся маленькие круги, создавая подобие жизни, так и оброненная подругой фраза всколыхнула остывшую ее душу. «Мне кажется, что я — мертвая, слепая лужа. Татиа бросает (вернее, уже бросила) в нее камешки, и по холодной, зеркальной поверхности моей ду-

ши пошли догонять друг друга маленькие круги. Слова Тати не сразу вошли в мое помутненное сознание. Слова, которые может сказать лишь женщина женщине, да еще умирающая и потому правая... В окне опять видна большая голова ребенка, его тонкая шейка. В мечтах моей умирающей подруги я — потенциальная мать этого ребенка.

В мощном многоголосии современной грузинской прозы совершенно самостоятельно проходит мелодическая линия Маки Джохадзе, произведения которой отличаются ярко выраженной лирической интонацией и утонченным эмоциональным миром. Созданная ею действительность дышит то патриархальной первозданностью, то поэзией трепетных чувств. Ее радости и печали звучат с исповедальной непосредственностью, требуя сочувствия и тепла. «Буря» в ее душе как легкий ветерок льет бальзам и на наши души. Разговор о духовных ценностях лишен помпезности и воспринимается читателем «романтической песней». В ее художественном мире божественная идиллия и тревожное внутреннее волнение души гармонируют друг с другом. Лирический экстаз сменяется анализом и трезвой иронией. Людские пороки вызывают в ней искреннее, даже импульсивное изумление, она объявляет им войну, возвышает против них свой взволнованный чистый голос. Но вдруг перед ее гневным взором дурманящим видением мелькнет лирический образ, и она возвращается в пронизанный теплом и любовью мир, который зовется миром Маки Джохадзе.





Элементы средневековой науки в поэме Руставели

В общем развитии литературной и философской мысли Средневековья грузинскому мышлению принадлежит особое место. В начале V века на грузинском языке была создана богатейшая христианская литература, которая подготовила почву для развития светской литературы (XII). Продолжая византийскую общественную и философско-литературную мысль, грузинское мышление XII в. поднимает проблемы, к которым впоследствии обращается европейское мышление позднего Средневековья. Вершиной развития грузинской литературной мысли явилась созданная Руставели на рубеже XII—XIII вв. героико-романтическая поэма «Витязь в тигровой шкуре», своеобразный синтез восточной персидско-арабской эпики и западного христианского мышления.

«Витязя в тигровой шкуре» так же, как и другие произведения, выражающие грузинскую литературно-философскую мысль той эпохи, характеризует типологическое сходство с явлениями литературно-философской мысли европейского позднего Средневековья или Предвозрождения.

В соответствии с рационалистическими тенденциями позднего Средневековья Руставели подвергает пересмотру христианскую догматику с позиций разума, логики. Философское мышление этого периода требовало доказательств религиозных догматов. Аверроэс (Ибн Рушд) пишет трактат «К доказательству религиозных догм». По этому же пути следовал Фома Аквинский. Подытожив достижения схоластики XIII в., он пришел к выводу, что человеческий разум способен проникнуть в суть христианских догматов и обосновать их. Доказательство религиозных догматов логическим путем не было новым для мышления XII—XIII вв. Значительно раньше к этому пришли и арабская философия, и европейское мышление, например, Ансельм Кентерберийский (1033—1109). Новым для этих

рационалистических тенденций в схоластике XII—XIII вв. был отказ от признания религиозных догм без их логического доказательства. Именно эта тенденция ярко проявилась в «Витязе в тигровой шкуре» Руставели. Поэма Руставели — глубоко теологическое произведение, но в ней нашли место только те догматы христианской религии, которые, по мнению схоластиков позднего Средневековья, подтверждались разумом, логикой (существование бога, бессмертие души).

Таким образом, в отношении Руставели к христианской догматике проявляются рационалистические тенденции позднего Средневековья.

Научные, рационально-логические тенденции этого периода в поэме Руставели проявляются в том, что его мировоззренческая система зиждется на астрологических представлениях. Так же, как и европейское мышление позднего Средневековья и Ренессанса, руставелевская мысль признает астрологию сферой разума, логики, науки. Определение астрологического предначертания судьбы Руставели противопоставляет религиозной вере, чудесному.

В соответствии с космологическими представлениями Руставели между богом и земным миром расположены небесные светила, движимые божественным промыслом, открывающие этот промысел людям. Считалось возможным прочтение человеком вложенной в расположение светил божественной воли. Подобное сочетание астрологических представлений с христианской религией характеризует позднее Средневековье и эпоху Ренессанса. Подобное осмысление лишает астрологию религиозного содержания. Астрология признана наукой. Дело в том, что интересы этой эпохи постоянно колебались от религиозной веры к человеческой логике, мышлению. Пробуждение интереса к астрологии было естественным: опиравшаяся на знание астрономии, геометрии и математики, она давала возможность человеческой логике сказать свое слово о земных проблемах. Астрологические аспекты «Витязя в тигровой шкуре» отражают интерес к научному мышлению и соответствуют духу позднего Средневековья.

Таким образом, интерес к науке в «Витязе в тигровой шкуре» проявляется именно в направлении, характерном для европейского мышления эпохи позднего Средневековья. Особо следует отметить интерес Руставели к античной философии и метафизике. Философские элементы «Витязя в тигровой шкуре» восходят к неоплатонизму и аристотелизму. Руставели опирается на Аристотеля преимущественно в сфере этики. Выс-

шее благо как этическая категория, в соответствии с этическими воззрениями Аристотеля, усматривается в поэме в земном счастье, блаженстве, а творение блага есть путь, средство для достижения этого счастья. Одним из основных источников концепции дружбы у Руставели являются взгляды Аристотеля на дружбу, сформулированные в «Этике Никомаха». Руставели опирается на учение Аристотеля о форме материи, в частности, на аристотелевское понимание души. Взгляды Руставели на проблемы поэтики близки к теоретическим воззрениям Аристотеля в этой области. Это, с одной стороны, сближает творчество Руставели с тенденциями развития христианской европейской общественно-философской мысли XIII в. и, с другой стороны, поднимает до уровня распространённых в Европе эпохи Ренессанса взглядов. Обращение к христианскому неоплатонизму, опирающемуся на аристотелевский рационализм, является одной из основных особенностей, характеризующих мышление эпохи Ренессанса. И в поэме Руставели виден своеобразный синтез философии Аристотеля с христианским неоплатонизмом, утверждавшимся Псевдо-Дионисием Ареопагитом. Именно его положение об отношении добра и зла, отрицание субстанциального существования зла, тезис о неизбежности победы добра, имеющего вечную сущность, является философской основой сюжета «Витязя в тигровой шкуре». При определении бога как наивысшего существа Руставели опирается на ареопагитский метод, на положительную и отрицательную теологию.

Следы античного мышления ощущаются и в других деталях поэмы. В поэме Руставели имеются отдельные элементы античной метафизики, которые были популярны в средние века и воспринимались как научное знание. В поэме нашло свое отражение восходившее к философии Эмпедокла и принятое в средневековой схоластике учение о четырех первоэлементах природы — воде, воздухе, огне и земле. Проблема о начале физических явлений или вещей природы — одна из основных в предсократовской греческой философии. Аристотель в III главе первой книги «Метафизики» освещает краткую историю вопроса. Первый греческий философ Фалес считает, что материальным началом вещей была вода, Анаксимен и Диоген — воздух, по мнению Гипаса Метопонтийского и Гераклита Эфесского — огонь. Эмпедокл к этим трем элементам добавил четвертый — землю — и считал эти четыре элемента вместе началом всех вещей. По его мнению, эти элементы по своей природе противостоят друг другу. Вода прозрачна и текуча,

воздух темен и холоден, огонь светел и горяч, а земля тверда и тяжела. Эти элементы вечны, не возникают и не исчезают. Соединяясь друг с другом, они не создают новых элементов; ни один элемент не может превратиться в другой. Они лишь смешиваются друг с другом в различных пропорциях и порождают физические явления, материальные предметы. Их связующим и разъединяющим началом является сила любви и ненависти. Благодаря сочинениям Аристотеля эти воззрения в средние века были очень популярны.

По «Витязю в тигровой шкуре» тело человека как материальный предмет состоит из четырех элементов или первоначал. Смерть осмысливается как их распад и освобождение от них духа. Главный герой поэмы Тариэл так представляет себе смерть:

Врозь пошли, мои стихии, возношусь в духовный ряд.

(перевод Ш. Нуцубидзе)

Главный женский персонаж поэмы — Нестан — так же представляет воспарение своей души на небеса. Она просит своего возлюбленного молиться за нее перед богом, дабы ее душа освободилась от земных элементов и вознеслась бы к божественному сиянию:

**Умоляй творца, чтоб выход дал из тленной мне темницы,
Где огонь, вода и воздух и земля кладут границы,
Чтоб туда взнеслись на крыльях, где мечты моей зеницы
Созерцали б днем и ночью солнца вечного зарницы.**

(перевод Ш. Нуцубидзе)

В поэме Руставели нашло своеобразное отражение еще одно восходящее к «Метафизике» Аристотеля, весьма популярное в средние века учение о причинах существования. Средневековой схоластике теория причин известна в том виде, в каком ее сформулировал Аристотель: причина материальная, действующая и конечная причина, т. е. цель. В то же время эта теория была популярна и в ее видоизмененной под влиянием неоплатонизма форме.

На первое место среди причин здесь была поставлена творческая причина, которая есть бог. Она противопоставляется остальным четырем, относительным по сравнению с ней причинам. Их ряд начинается целевая причина, или причина предназначения, иначе — завершающая. В таком виде представлена теория причин в арабской схоластике — у Ибн-Сины, в грузин-

ской философии XI—XII вв.—у блестящего представителя развитой схоластики Иоанна Петрици.

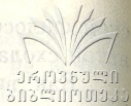
Как видно, Руставели знаком с обеими разновидностями теории причин. В его поэме упоминаются материальная причина и причина предназначения, однако не как единственные сами по себе, но как символизирующие оба варианта рядов причин. Особый интерес вызывает упоминание поэтом целевой причины. Целевая причина в средневековой развитой схоластике толкуется как добро и как истинность. Также и в арабской схоластике — у Ибн-Сины (трактат «Исцеление» II, 3) и в латинской схоластике — у Фомы Аквинского («Спорные вопросы: об истине», I; «Сумма теологии», V; 4). Упоминание Руставели завершающей причины, называемой им причиной предназначения, и понимание ее как атрибута главного героя поэмы, позволяет увидеть в нем нюанс добра и истинности, или высшей реальности. Воздавая хвалу своему идеальному персонажу, Руставели говорит: «Он — радость мира, он — вещь и долг».

Необходимо отметить и то, что Руставели не вдается в подробности средневековых метафизических толкований. Он использует термины схоластики, но не стоит на схоластических позициях. Его высказывания свидетельствуют лишь о его глубоких знаниях.

Надо отметить и то, что характеризуя своего идеального героя, влюбленного витязя, гордо и свободно странствующего в поисках божественного добра, метафизическими дефинициями, поэт возвышается над средневековой схоластикой. Мы ощущаем своеобразный, возвышенный, поэтический подход к этим логико-метафизическим категориям, как будто автор стремится преодолеть схоластическое созерцание средствами поэзии.

Такое отношение поэта к средневековым схоластическим категориям содержит новые, гуманистические тенденции, которые позже в европейской действительности будут названы ренессансными.





Человек в древнегрузинской литературе

НАВЕРНОЕ, ни в чем другом изменчивость литературных эпох и стилей не проявляется столь ярко, как в трансформации образа человека. Именно благодаря создаваемой модели мира и человека произведение увязывается с духом культуры своего времени. Ни один элемент структуры произведения не в состоянии отразить природу художественного целого более полно, нежели образ личности.

Существует два критерия художественной модели человека: частный, выражающий одну сторону человеческой сущности — индивидуальное, личностное, реальное; и общий, выражающий другую ее сторону — всеобщее, историческое, социальное, идеальное. Взаимоотношение этих двух аспектов человеческой личности и определяет специфику литературной эпохи. «Непосредственное совпадение общественного и личного, их тождественность в облике литературного персонажа — эта особенность, предстывая видоизмененной в гомеровских поэмах, аттической трагедии, героическом эпосе средневековья и русской летописи, все же сохраняется как определяющая основа в литературе добуржуазной эпохи... Когда мы обращаемся к вопросу о способах изображения человека в древней литературе, перед нами прежде всего встает проблема характеристики, основанной на тождественности общего и личного начал, такой их связи, которая является не соединением, а отсутствием различия, непосредственным совпадением»¹.

¹ Теория литературы (образ, метод, характер). — М.: Наука, 1962, с. 328—329.

Эта закономерность присуща не только христианской литературе Средневековья. Утверждение христианства привнесло в сферу культуры, мироощущения много нового: было разрушено характерное для античности тождество, гармония реального и идеального, частного и общего, осознан тот факт, что противоречия присущи внутренней природе человека, самой жизни; что красота тела отнюдь не свидетельствует о красоте души и тем более не исчерпывается ею. Земное, плотское ограничено рамками нашего несовершенного мира, тогда как духовное, прекрасное, идеальное пребывает вовек — вот постулат, выдвинутый христианством и по праву признанный великим открытием.

Преисполненная противоречий и внутреннего драматизма душа положена в основу понимания христианского бога. Бог облачается в плоть, сходит на землю, превращается в человека. Боль, вызванная раздвоением божественного и человеческого, отчетливо проявляется в мистерии Голгофы: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты меня оставил?» (Матф., 27, 46).

Если античная литература видела идеальность героя главным образом в величии духа, проявляющемся в его отношении к внешней действительности, то христианское искусство переносит внимание с внешних событий и ситуаций на присущие человеку внутренние противоречия. Античный герой не был бы монолитной личностью, знай он, что такое внутренняя борьба, насилие над собственной волей. Античные герои, даже испытывавшая жесточайшие муки, не утрачивают репрезентации, не теряют равновесия.

Поприще же героя христианской литературы — его собственная внутренняя жизнь. Он целиком погружен в драматические противоречия. Христианское искусство «предпочитало выражение вдохновенного экстаза в некрасивом, истощенном теле... образ страдающего, оскорбляемого человека — центральный в нем»².

Свобода и величие духа даются герою христианской литературы не сразу, они достигаются путем победы души над чувственным, земным началом, как устремление ее к бесконечности. Именно об этом говорит Гегель: «Мы должны понимать и изображать духовное примирение только как деятельность, как движение духа, как процесс, в ходе которого возникают усилия, борьба и существенными моментами которого

² Основы марксистско-ленинской эстетики. — М., 1960, с. 264, 262.



являются боль, смерть, скорбное чувство ничтожности, муки духа и тела».

В ходе столкновения тела и духа, личностно-земных интересов и духовно-идеальных устремлений мученик одерживает победу над телом, над земными интересами. Это возвышение души, противопоставление ее телу Гегель считает основным принципом христианского искусства. После очеловечения Христа «жизнь христианина уже не поражение, претерпеваемое от порабощения плотью, но непрестанно одерживаемая победа духа над плотью»³.

О противопоставлении реального и идеального и торжестве последнего повествуют и памятники грузинской агиографической литературы. Сам этот факт уже предопределяет содержание и форму агиографического произведения.

Для идеализации своих героев авторам мученичеств Шушаник, Евстатия Мцхетели, Або Тбилели, Константина Кахи, Гоброна не требовалось водить их по длинным и трудным дорогам, подвергать различным опасностям. Создавая художественный образ мученика, агиограф ориентируется в основном на движение души, повествует о внутренних переживаниях героя; главное в агиографическом произведении — «не внешние подвиги на поприще семейной нравственности и политической жизни. Бесконечную ценность обретает теперь действительный отдельный субъект с его внутренней жизнью». Герой здесь «не столько желает осуществлять цели и предприятия в мире ради мира сего, сколько стремится делать существенным лишь внутреннюю борьбу человека и его примирение с богом»⁴.

Эта борьба плоти и духа определяет конструкцию персонажа и сюжетную композицию произведения. Для иллюстрации обратимся к древнейшему памятнику грузинской литературы — «Мученичеству Шушаник» Иакоба Цуртавели.

Наряду со смирением, благочестием и набожностью героини, духовным величием, которым отмечен ее образ, в произведении присутствует и противоположное начало — плотское, земное. Два этих разных импульса резко противопоставляются друг другу в структуре образа мученицы, и именно драматизм этого противопоставления создает художественный пафос произведения. Мы сознательно не упоминаем те эпизоды «Мученичества Шушаник», в которых проявилась духовность, внутрен-

³ Словарь библейского богословия (под редакцией Ксавье Леон-Дюфура). — Брюссель, 1974, с. 1254.

⁴ Гегель. Эстетика. Том I, с. 234, 239.

няя стойкость героини. Приведем лишь те места из сочинения, в которых наиболее ярко изображены ее противоречивые переживания и поступки.

На отступничество Варскена Шушаник отвечает уходом из семьи — взяв детей, она направляется в церковь. Только «по совершении вечерней службы она нашла маленькую келью поблизости от церкви, вошла в нее, полная огорчений, и, притаившись в одном из углов ее, плакала горькими слезами». Плакала — ибо уже знала, что обрекла себя на одиночество, разрушила свое счастье, что впереди ее ждут тяжелые испытания. Нелегко даже преисполненной любви к богу и благочестия женщине отказаться навсегда от мирской жизни.

В келье Шушаник посещает пресвитер Иакоб. В каждом слове царицы сквозит бесстрашие, огромная сила духа, хотя она и знает, какие ей предстоит пережить несчастья, но одновременно в ее речах звучит внутренняя боль и упреки судьбе. «Одну меня постигло это горе», — жалуется она священнику.

Тайно или явно, но все сочувствуют царице Шушаник, и тем не менее слабой женщине трудно вынести ниспосланные ей тяжелейшие испытания, и эта ее слабость проявляется в упреках и сетованиях: «Господи боже, в этом собрании не нашлось никого, кто бы сжалился надо мною, ни среди священников, ни среди мирян, но все предали меня на смерть врагу божьему Варскену».

Противопоставление земного и божественного ощущается почти во всех пассажах, непримиримость этих противоречий терзает героиню, накладывает на ее облик печать мученицы. Ее образ то освещен светом титанической силы и божественного воспарения духа, то пронизан земной, человеческой болью и скорбью. Жестом, исполненным внутренней свободы и подлинного аристократизма, мученица показывает священнику червей в ее ранах и при этом находит в себе силы подбадривать его. В другой раз эта «святая воительница» за дело господне отказывается смыть кровь с лица, ибо кровь — достоверное свидетельство ее душевного мужества и святости. Сцену, в которой героиня показывает священнику червей, писатель завершает таким штрихом: «Я ей ответил: «Власяницу нашла недостаточной для умерщвления плоти и потому обрадовалась этим червям?» Она меня просила: «При жизни моей никому не говори о власянице, мне вскорости предстоит расстаться с бренною плотью». И действительно, на теле она носила власяницу, с чем, кроме меня, никто не знал, а поверх ее, напоказ, одежду из дорогой антиохийской материи».

Шесть лет страданий не убили в Шушанике женщину. На показ она носит платье из дорогой антиохийской ткани, которое скрывает власяницу, власяница же скрывает изъязвленное, изъеденное червями тело. В нем живет возвышенная душа, пылающая любовью к небу, возвеличенная страданиями и страдающая от физической беспомощности. Царица в богатом одеянии и оскорбляемая мученица во власянице — в одном лице, прошлое и настоящее, мечты и действительность — в драматическом единстве.

Однако когда на шестом году мучений царицу посещает в темнице Джоджик, у нее будто открываются все раны разом — душевные и телесные, с уст ее срываются угрозы и проклятия, причитания и мольба: «Пусть рассудят меня и пиахша Варскена, где нет лицепрятия перед судьей судей и господом господ, где нет различия между женщиной и женщиной, где я и он одинаково будем держать речь перед Господом нашим Иисусом Христом. Да воздаст Господь ему, ибо он преждевременно собрал плоды мои, погасил светильник мой и засушил цветок мой, прелесть красоты моей омрачил и славу мою унизил. Я же ныне благодарю Бога за то, что через причиненные им мне страдания я обрящу отраду, а через муки и поношения — покой; за безрассудство и безжалостность его я жду милости от Иисуса Христа, Господа моего».

Как видим, это драматическое противопоставление реального и идеального выливается в форму лирического экстаза, обращенная к господу мольба проникнута надеждой, духовным умиротворением и радостью. Это — радость победы над страданиями и болью, смех сквозь слезы. Лиризм здесь — форма, тональность, которая, «подобно всеобщему аромату души» (Гегель), заполняет собой все. Интим, молитва, ожидание, воззвание, мольба, страстное желание, раскаяние, надежда, переживание блаженства и унижения — вот на что расходует мученица свою внутреннюю энергию.

Все вышесказанное в большей или меньшей степени можно отнести ко всем памятникам грузинской мартирологии, например, к «Мученичеству Або Тбилели» (VIII век), повествующему о том, каким мукам подвергли арабы своего соотечественника за преданность христианской вере и Грузии. В третьей главе произведения рассказывается о девяти днях, на протяжении которых брошенный в темницу и оставленный наедине с самим собой Або со страхом и бесстрашием, со слезами и улыбкой сражается с подстерегающей его у двери смертью. Он подавляет в себе страх физической боли, закаляет свою волю.

35940
111033

чтобы не сломиться в час наивысшего испытания: «В этот день и мне надлежит сбросить с себя страх плоти, которая является одеянием души моей... Благодарю тебя, Господи и Боже мой Иисусе Христе, давший мне в напутствие живоносную плоть твою, честную же кровь твою в радость и утверждение мое. Я знаю, что Ты не оставил меня, но стоишь со мною, я же с тобой... Если я пойду среди теней смерти, не убоюсь зла, потому что Ты, Господи, со мной». Потрясенная испытаниями душа мученика молит Спасителя о помощи, которая ему так нужна в его борьбе духа с плотью. Эта боль раздвоения также проявляется в форме лирического обращения.

Все эти девять дней из жизни Або протекают напряженно и драматично. Мученик молится, взывает к Господу, ждет помощи... Мученик пребывает в тюремной камере наедине с самим собой и Всевышним. Так же предельно ограничено место действия Шушаник (шесть лет в темнице), Евстатия, Гоброна и др. Все внимание агиографа обращено на душу героя, остальное же представляет интерес лишь постольку, поскольку относится к внутренней его жизни или преломляется через его сознание. «Вместо непосредственного прохождения героя через мир, вместо сложной динамики — перенос динамики в душу человека»⁵.

Что же касается жанра житий, то здесь ситуация несколько меняется: противопоставление реального и идеального аспектов в художественном образе человека сохраняется, однако структура модели усложняется тем, что к ней добавляется новое поприще действия — объективная действительность.

Претерпевает изменение само содержание противопоставления человеческого и божественного, его смысл. В учениях Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Августина, Василия Кесарийского, Максима Исповедника появляются новые аспекты, связанные с идеалом человека и его назначением... Путь приближения к богу представляется теперь не как возвышение духа над плотью, а как духовное смирение, уничтожение (*humilitas*) и послушание (*oboedientia*), два новых занимающих место голого спиритуализма мотива. Бедственное положение человека понимается несколько по-иному: беду человека Августин видит уже не просто в том, что он, находясь на одной из низших ступеней эманации, обременен материей, а в том, что в нем скрыт образ бога, и скрыт прежде всего под высоким мернем... Так произошло одно из значительных изменений в

⁵ Теория литературы (образ, метод, характер), с. 236.

картине мира и в понимании человека. Место онтологического дуализма материи и духа занял этически-исторический дуализм высокомерия и уничтожения. (И. Ратцингер). Духовная аскеза сменилась аскезой смирения. Проявляющееся здесь геройство не меняет общественного положения, не преследует цель социального и политического благоденствия, оно служит лишь утверждению в личности высшей этической нормы. Это, как говорил Гегель, геройство послушания-уничтожения.

В VII веке подвизавшийся в Палестине грузинский монах Мартвири Сабацмидели создает мистико-аскетическое сочинение «О покаянии и смирении». В X веке Евфимий Афонский переводит на грузинский язык сочинение Максима Исповедника (скончавшегося, между прочим, в Грузии) о послушании, сочинение Василия Кесарийского «О смирении» и книгу Аввы Дорофея «Об уничтожении и смирении воли». В XI веке на грузинский язык уже переведены «Аскетикон» Иоанна Златоуста и «Аскетикон» Ефрема Сирина. В контексте христианской культуры послушание есть свободное согласие с Божьим промыслом. «Человек соединен с Творцом отношением жизненной и первичной зависимости, которую его свобода должна выразить послушанием. Этот закон, написанный в сердце человека, есть совесть, посредством которой Бог Живый беседует со своим творением»⁶.

Неиссякаемым источником вдохновения для христианского писателя является распятие, в котором Христос возводит акт послушания и смирения на невообразимую высоту, без всякого сопротивления отдаваясь воле своих мучителей. Тем самым Христос превращает свою смерть в величайшее жертвоприношение на алтарь Господа — жертвоприношение послушанием.

Новое противопоставление земного и небесного нашло отражение и в грузинских агиографических сочинениях, относящихся к жанру житий. Конфликт в них опять перенесен в сферу внутренней жизни человека — с высокомерием, честолюбием, гордыней борются послушание, смирение и уничтожение. Эта борьба порой незаметна, порой же принимает острый и выраженный характер. Иногда писатель изображает лишь результаты этой борьбы, и читатель сам должен догадаться, какой ценой они добыты (например, каких усилий стоило Давиду Гареджели, Григолу Хандзтели или Серапиону Зарзмели отказ от земных почестей и пострижение в монахи).

Приведем примеры. Георгий Мерчуле, автор «Жития Гри-

⁶ Словарь библейского богословия, с. 1247.

гола Хандзтели» (X в.) повествует: в воскресный день Григол повелел своему ученику Епифанию, игумену Хандзтийского монастыря, отслужить литургию. «Епифаний облачился для службы, а с ним и другие священники... Когда они поднялись на жертвенник и Епифаний стал произносить возглас пред Трисвятою песнию (букв: «Святой Боже»), отец Григорий вошел на жертвенник и, ударив его посохом по голове, сказал: «Замолкни!». Он замолк без признаков волнения. Григорий велел ему отправиться в дьяконник и разоблачиться. Тогда весь народ охватило удивление и ужас. Он пошел, снял с себя облачение, вернулся к учителю и долго стоял перед ним. Учитель снова велел облачиться и служить литургию. Он с радостью облачился и припал к блаженному Григорию: тот осенил его крестом, и он взошел на жертвенник, поборов немощь гордости и начал приносить бескровную жертву». Григол объясняет смысл происшедшего: «Посмотрите-ка, возлюбленные братья, на совершенную в делах кротость Епифания. Верьте мне, говорю истину перед Богом. Ни в чем не провинился он, так что благодать Святого Духа пребывает всегда с ним из-за богобоязненности его, святости и кротости... И я поступил так, чтобы видели вы...»

Перед нами психологический пассаж геройства послушания. Геройство это проявляется в результате испытания, что является отражением библейского мотива: для спасения рода человеческого Всевышний обращается к вере Авраама, испытывая эту веру посредством послушания (Быт. 22.2—13).

На противопоставлении мотивов высокомерия и смирения целиком основан эпизод из «Жития Григола Хандзтели», относящийся к Зенону. «Некий недобрый муж соблазнил его сестру при содействии дьявола». Они отправились в Шавшети. «Узнав об этом, он (Зенон — Г. П.) облачился один в доспехи, сел на коня и погнался». По дороге знатный азнаур беседует с самим собой. В его монологе дворянское честолюбие и высокомерие (чувства, которыми продиктовано стремление Зенона покарать обидчика за сестру) борются со смирением и всепрощением. Последние одерживают в этой борьбе верх. Зенон «осенил свою плоть крестом, направился по божественному пути» и принял постриг в Хандзтийском монастыре. Писатель специально подчеркивает, что его герой «возвысился» над мирскими страстями, одолел их, ибо «отречение от стяжаний уподобляется пролитию собственной крови».

Когда же один из учеников Григола Хандзтели, Ефрем, противится назначению другого ученика, Арсена, католикосом,

учитель, взывая к чувству смирения и послушания, говорит ему: «Если ты поступишь так, отрекись от меня, я не учитель тебе!». Блаженный Ефрем заплакал при этих словах духовного отца и учителя и сказал: «Твое приказание — жестоко, оно режет острее меча; так да будет не моя, а твоя воля, божий святой!».

В этой связи можно привести еще множество примеров из других «Житий». Самая же глубокая мысль, выраженная в них, заключается в том, что «Бог требует нашего послушания, ибо у Него есть замысел, который должен быть выполнен, есть вселенная, которая должна созидаться при нашем сотрудничестве, нашем принятии Его замысла верою»⁷. Это внутреннее принятие Слова Божия, высших заповедей знаменует собой не рабскую покорность, а проявление любви. Любовь же, по словам Гегеля, есть самое существенное и общее содержание христианского искусства⁸. Благодаря животворной силе этой высшей любви дух торжествует над плотью, смирение и послушание — над высокомерием и гордыней. В обоих случаях эта борьба связана с болью и страданием или со смертью. Боль и страдание обретают сакральный смысл с тех пор, как Христос сделал их средством спасения людей. Путь от человеческого к божественному пролегает через Голгофу.

Авторы «Житий» хорошо понимают, что внутренняя драма их героев не менее остра, чем у мариологических персонажей. Они «каждый день умирают» (I Кор. 15.31). Василий Зарзмели (X в.) считает послушание «мученичеством, которое вместе с мучениками-подвижниками без пролития крови венчает человека».

Однако содержание и структура модели героя «Житий» усложнена введением одного принципиального компонента. Согласно «Житиям», человек проявляет свою идеальность не только путем преодоления внутреннего конфликта, но и на объективном, общественно-культурном поприще. Григол Хандзтели основал пять очагов просвещения и книжной премудрости, участвовал в делах управления церковью, руководил монастырскими колониями, разработал их устав и уложение, вместе с царем и политическими деятелями боролся за национально-культурное единение страны, вмешивался в жизнь и нравы царей, в поте лица своего трудился в монастырском винограднике, создал сборник молитвенных песнопений, ездил в Визан-

⁷ Словарь библейского богословия, с. 850.

⁸ См.: Гегель. Эстетика. Том II, с. 247.

тию и т. д. Серапион Зарзмели боролся за укрепление монастырских земель, Георгий Мацхверели усмирил смуту, вспыхнувшую в Самцхе среди знатных азнауров, объединил духовную и светскую власть («Житие Серапиона Зарзмели», X в.); Георгий Афонский энергично боролся за то, чтобы Иверский монастырь не попал в руки греков, принимал участие в диспуте по вопросу автокефалии грузинской церкви, по возвращении на родину осуществил церковную реформу, увез с собой из Грузии в Иверский монастырь на Афоне 80 детей-сирот и т. д. («Житие Георгия Афонского», XI в.).

С конфликтами и драматическими ситуациями святые отцы сталкиваются и на этом поприще. Они преодолевают эти противоречия внешней объективной действительности благодаря своей мудрости и стойкости духа.

Этот последний компонент модели героя «Житий» подготавливает почву для перехода к светской литературе, в частности к идеальному персонажу эпоса «Амирандареджаниани». Здесь конфликт разворачивается в реальной действительности — это соперничество с богатырем, целым войском, чудовищами, драконами и т. п. В этом произведении «история и характер героя представлены в основном как боевые приключения. У него нет другой, проникнутой собственными переживаниями личной жизни, в силу чего сюжет произведения не объединен в единое целое содержанием, отражающим внутренний мир героя»⁹.

Герой «Амирандареджаниани» в отличие от агиографического персонажа не воспринимается в двух измерениях, с двух точек зрения. Его не терзает необходимость примирить общее и частное, идеальное и реальное. Второй компонент модели неотъемлем от первого, растворяется в нем. Образ героя в этом отношении очень цельный. Преодолевая целый ряд опасностей и приключений, он проявляет физическую силу, стойкость духа, знание военного дела. Пафос войны доминирует над интимной и вообще личной жизнью. Герой агиографического сочинения — личность со сложным внутренним миром, чего не скажешь о персонаже «Амирандареджаниани».

С аналогичных позиций осмыслен и образ главного героя грузинской исторической литературы (летописей). Он также представляет собой цельную личность. Его идеальность также зиждется на способности воздействовать на реальную дей-

⁹ История грузинской литературы. Том II. — Тбилиси, 1966, с. 30 (на груз. яз.).

ствительность. Меняя облик окружающего мира, сам он остается неизменным. Частный, личностный аспект и здесь поглощен всеобще-идеальным.

Грузинские летописи написаны в стиле, который акад. Д. С. Лихачев назвал монументальным историзмом. Грузинские летописцы особое значение придают эпизации действительности. Чтобы раскрыть величие героя, придать ему поэтическую возвышенность, летописцы представляют его обычно отрешенным от реальной действительности, мирской бременной жизни, увязывают его деятельность с деятельностью выдающихся исторических лиц, оценивают с позиций «абсолютного национального прошлого». Персонаж обретает завершенность именно на ценностном уровне этого прошлого.

Поскольку ни «Амирандареджаниани», ни национальной летописи не свойственна драма противопоставления реального и идеального, внутреннего раздвоения, все бытие человека предстает в них зримым и звучащим. «Принципиально невидимого и немом бытия» эти произведения не знают. «Немая внутренняя жизнь, немая скорбь, немое мышление», «человек для себя» — удел агиографического героя. В доруставелевской грузинской светской литературе «вся внутренняя жизнь могла существовать, только проявляясь вовне в звучащей или в зримой форме... Единство человека и его самосознание было чисто публичным. Человек был весь вовне»¹⁰.

В преддверии Руставели эти тенденции предстают в гармоничном единстве.

¹⁰ Срв.: Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. — М., 1975, с. 284.



Несколько отступлений в прозу Эммануила Фейгина

Когда умирает человек, — любой человек, — уходит целый мир. Когда умирает художник, целый мир остается.

(Из давней журнальной статьи)

КАК все это начиналось? Не вообще, не когда-нибудь и не в свершившемся факте рождения писательской судьбы, а в моей, читательской биографии? Случайно, как и многие наши знакомства-чтения. Начиналось с «99 вопросительных знаков» — с книги, которая кажется мне поэтическим завещанием писателя Фейгина. Теперь, когда я знаю почти все из написанного им, когда мне видится счастливая судьба этого сокровенного поэтического усилия, одного из последних в его жизни, я воспринимаю ее именно так.

«99 вопросительных знаков» — лирическая проза, внутренне очень цельная, легкая и изящная и в то же время глубокая. И еще — осталось впечатление того, что писатель сумел сказать самое главное, самое сокровенное — при всей грустной деликатности этого сдержанного повествования. Многие ли, даже очень талантливые, так уходят от нас?

Потом были и «Обида Егора Грачева», «Бульдоги Лапшина», «Сорок в тени», «Тбилиси, предвечернее небо» и многое другое. Опять же для меня, то есть совсем в другой, не реально-хронологической последовательности. Тогда я и подумала, что мир, оставляемый нам писателем, — парадоксальная вещь. Вот он уже завершен, обрел желанную для каждого исследователя целостность, занял место, ему принадлежащее, в Библиотеке, и пребывает, так сказать, «вещью в себе», в молчаливом ожидании своей неопределенной участи.

Минимальные условия для существования книги — два

мира, из которых один, пережив смерть, длится в жизни других сознаний и других времен, благодаря неутолимости жажды человеческого познания о мире и о себе.

Из этой потребности понять самое себя или, как сказал бы классик, «лично мне данное время и пространство» и родились эти несколько отступлений в прозу Эммануила Фейгина. Не отменяя сложности и противоречий его мира. Мои намерения — пройти с писателем несколько дорог. И оглянуться вокруг...

Я не сразу поняла, почему Фейгин сделал героя «Бульдогов Лапшина» режиссером, человеком Театра. Он мог бы быть кем угодно. Представителем любой другой профессии. Потому что профессиональная характеристика героя в этой повести не важная, и речь в ней идет о вещах принципиально непрофессиональных в человеке. Заметить это обстоятельство интересно. Кто-то другой написал бы иную повесть, используя готовый конфликт, слишком настойчиво предлагаемый современной жизнью. В недавней журнальной публикации о режиссере, большом, великом даже режиссере, читаю: «Если ты не деспотичен, тебе просто не справиться с театральным производством. В юности я плакал, зарываясь в подушку, когда чувствовал, что перерождаюсь из нормального, слабого человека в деспотического...» (Из записных книжек Эфроса). Вот он, драматический сцеп профессионального и человеческого в личности, профессиональная реальность человека или человеческая реальность профессионала. Конспект возможной художественной истории, благодатный и эффективный для писателя. У Фейгина — совсем о другом. И профессия героя — обстоятельство внешнее по отношению к той человеческой проблеме, которую он исследует в повести. «Бульдоги Лапшина» — о попытке нравственной саморевизии личности в условном поле жизненных зависимостей и притяжений. Такое могло случиться с каждым, безотносительно к занимаемому им социальному пространству. И человеческий срез собственно театрального бытия не интересует Фейгина. Вот одна актриса рассуждает: «У нас в театре только и слышишь: бездарный и бездарная... Жестокое, высокомерное слово. Разве нельзя без него?». Так и хочется спросить: при чем здесь пленительный и немилосердный храм Мельпомены? В каком простодушии и очаровательной невинности пребывает эта добрая женщина, исповедуя «устав» совсем другого «монастыря»? Но постепенно становилось понятным, что Театр — не социально-психологическая достоверность изображаемого мира, не тема судьбы центрального героя, а ее насмешливый символ, ее ироническая стилистика. В


«Бульдогах Лапшина» картины человеческого самосознания предстают как спектакль мысли и слова, как Театр неискренности, игры. И именно это говорит о принадлежности героя к миру лицедеев.

Напомним, как развиваются события в повести. Ее герою Демину сообщают о смерти главного режиссера городского театра, с которым он проработал бок о бок долгие годы. Демин, считая, что является самой подходящей кандидатурой преемника, мысленно «примеряет» на себя эту роль и приходит к неутешительному выводу, что он «не тянет» на нее. Вот, собственно, и все. Завязка и развязка. А между ними — беспощадный нравственный эксперимент.

Демин — из тех людей, о которых говорят «вполне приличный человек». Звезд с неба, конечно, не хватает. Но нет в его жизни и ничего предосудительного — с точки зрения общепринятой среднестатистической морали. Разумеется, у Демина есть проблемы, у кого их нет? Жена ушла, например (по причине, не ясной читателю, — случайно ли?). Всегда на вторых ролях, имеет и доброжелателей, и недоброжелателей, но чаще — просто знакомых. Обычная жизнь заурядного, среднего интеллигента. Но дело не в том, что это — действительность, какая она есть, а в том, что герою очень важно его нравственное «алиби» в ней. Ни о каком максимализме в налаженном механизме жизнебытия не может быть и речи, но имя порядочного человека — обязательно. Обыкновенного порядочного человека. Желание само по себе понятное: заурядность — не порок, а претензия на самоуважение — тем более. Однако есть в ней некоторая сомнительная неопределенность: что если она — фикция и оплачена ценою непозволительной? Приведшей к утрате жизненно-важных внутренних регуляторов, личностных ориентиров? И если в один прекрасный день человек объявляет себя банкротом, — чего здесь больше: его вины или беды?

Фейгин предлагает нам свою «версию» этой нравственно-психологической фабулы. Демин склонен к рефлексии — обязательно атрибуту интеллигентского сознания. Утверждая свое воображаемое «я», Демин рискованно освобождается от всего, что может помешать ему — рискованно потому, что он не утратил окончательно потребности в искренности.

Ирония Фейгина задает повествованию «разоблачительный тон» с самого начала. Вот он пишет о склонности героя испытывать «некоторую приятность от мыслительного процесса»; «Обычно после первой, самой приятной затяжки мысли возника-



ли тоже приятные, и текли они обычно неторопливо и не в одном каком-нибудь направлении, а куда придется, в разные стороны». Демин знает, «зигзаги» его мысли подчас содержат в себе нечто компрометирующее. Поэтому не туда завернувшую «затяжку» он старается вовремя «перебить». Так, почувствовав, что его печаль по поводу смерти хорошо знакомого человека не так уж и сильна, он, как уличенный в проступке ребенок, «оправдывается» и спешит форсировать ее. Это почти безобидное занятие имеет, однако, далеко идущие последствия.

Демин — симптоматический герой, приучивший себя к полуправде. Когда же возникает необходимость в полной правде, она делается невозможной. И как результат — неуверенность в собственных мыслях и чувствах, что уже не вина, а беда человека. Повесть Фейгина — о том, к какому саморазорению это может привести и приводит личность.

Беда Демина — беда стереотипного, обезличенного мышления. Увы, он осознает свою банальность. В его внутреннем монологе то и дело проскальзывают чуждые слова, которым Демин не доверяет и которых боится. Стереотип как назойливая муха, постоянно преследует героя: «Демин покривил губы, не любил он все эти прилипчивые «взлеты и полеты» из расхожего лексикона плохих поэтов, но какое это имеет сейчас значение». Не любит, но почему-то постоянно от них «отбивается», словно они и в самом деле угрожают ему. Да, Демин хватается за них, как за спасение. Мысль «не вытанцовывается», но весь антураж гладкой, ложноромантической, провинциальной фразы при ней. И «чистые слезы», и «горестные вздохи» следуют за Деминым неотступно. Может быть и не случайно, ведь он «творческий» человек. «И все-таки лицо Демина сделалось печальным, когда он увидел покойника. И горестный вздох вырвался из стесненной деминской груди» (разрядка моя — Н. Д.). Ирония автора обнажает предельную зависимость героя от чуждого словесного присутствия. Следуя за «зигзагами мысли» Демина, начинаешь особенно отчетливо понимать, что есть мысль и мысль. Есть слово и слово. Перед нами — действие обескровленных, истощенных мыслей и слов. «За кулисами играют спектакль: «Все хорошо, прекрасная маркиза». Плохо играют. Фальшиво».

Фейгин точно диагностировал современную болезнь: девальвация самосознания, его самоотчуждение, контроль безликого, среднестатистического зрителя. Устрашающее и тоталь-



194935340
3030110333

ное самонедоверие, имитацию «диалектики души». Расплату за первородный грех когда-то недосказанной себе правды.

Эксперимент проведен Фейгиным до конца, вопреки «программному» заявлению главного героя: «Самокопанием не занимаюсь», — отрезал Демин и так брезгливо сморщился, словно ему предложили копаться в мусорном ящике». А вот и итог, финальный акт этого «спектакля»: «А я, Демин, буду тащить свой... возок. Да, да, возок, а не воз — я свои масштабы и свои силы не преувеличиваю». Что это, похвальная адекватность самооценки? Отнюдь нет, всего лишь ритуал. Не любящий «самокопаний» Демин вдруг пускается в такое вот откровение: «...к хомуту привык — шею не давит». Уничтожительная самохарактеристика страшна сама по себе. Но еще страшнее то, что она сопровождается обессиленным и бессмысленным внутренним жестом. Деминская «ситуация прозрения» парадоксальна. Она не имеет ничего общего с нравственным самосудом и свободой выбора. Рефлексия, как шлейф привычки, тащится за ним, ничего не знача, ни к чему не приводя.

Неожиданную повесть написал Фейгин. Но самая большая ее неожиданность — финал. В нем Демин ставит точку на своей истории, бросая двух бульдогов главрежа Лапшина — и это единственный его поступок на протяжении всего «идеального», мечтательного действия повести. Сюжет, казалось бы, исчерпан: герой прояснен до конца. Но вот непредсказуемость: бульдоги, это последнее испытание героя, из обстоятельств деминской биографии вдруг превращаются в действующих лиц, дают сюжету новое измерение, иную, нежданную читателем возможность его развития. «А бульдоги... Некоторое время они терпеливо ждали окрика, словесной или бессловесной команды и, сообразив, наконец, что не дождутся, переглянулись, вздохнули, и, подхватив с земли поводки, мелкой, арестантской рысцей вразвалку побежали прочь от дома, от которого исходили знакомые им еще по прежней жизни запахи страха, одиночества и близкой смерти». Бульдоги побежали за Деминим, который их предал. Эта «сдвинутая» развязка повести, завязывающая новый сюжет, кому-то может показаться излишеством, очень нестрогим отношением к законам композиционного равновесия. Мне же кажется, что финал зафиксировал чудесную непоследовательность человеческой души — ее движение к милосердию. По воле автора человек, скомпрометировавший себя в наших глазах, получает трогательное почти прощение от пары бульдогов, неожиданно уравнивавших его и своего быв-

шего хозяина — таких разных, но одинаково нуждающихся в сострадании...

Повествовательная манера Фейгина очень сложна. Она тем сложнее, чем непритязательнее и проще желает казаться рассказчик. Добродушно посмеивающийся, балагурящий, он повествует незамысловатую, как кажется, «байку», «смехоту» («Обида Егора Грачева»). «Мое сочинение, слава аллаху, — незатейливая, в меру забавная и в меру грустная история из обыденной жизни, к тому же рассказанная в полушутливом тоне, чтобы, упаси бог, кто-нибудь не вздумал придать ей чересчур серьезное значение». Словоохотливый и доброжелательный собеседник рассказывает нам притчу. И самый выбор этой маски для Фейгина неслучаен. Она во многом близка его лирическому герою. Кто за нею стоит? Милый чудак, любящий неторопливую обстоятельность беседы, но это — не alter ego автора. Фейгин играет со своим читателем в непростую игру: порой он обнаруживает себя на уровне «открытого текста», давая прямые оценки и комментарии, выводы и риторические вопросы. Порой же в его слове проступают черты «сказа», а то вдруг оно «ныряет» во внутренний монолог, растворяется в несобственно-прямой речи или меняет шутливую интонацию на откровенно-сатирическую и даже фарсовую. Точка зрения автора кажется неуловимой, а сам он — насмешливо ускользающим.

Доминирует легкая, беспечная интонация. «Беседы» с читателями, и особенно читательницами, часто касаются «пустячков», не имеющих отношения к изображаемым событиям, что является определенным камертоном для всего повествования. На этом фоне разворачиваются события повести. Ирония, к которой мы привыкли, приобретает горьковатый привкус. Вот от Грачева уведят любимую лошадь Чемберлена, верного друга. «В тот же день Чемберлена увели. А куда увели — не знаю. Во всяком случае, не на конюшню санаторного типа для престарелых, отслуживших лошадей. Скорее, на лисью ферму. На корм чернобурым и серебристым. И ради бога, не вздыхайте так жалостливо, мои дорогие читательницы, особенно вы, счастливые обладательницы теплых, изящных шубок и воротников из этих самых прожорливых лис. Чего уж вздыхать — все равно ничего не поделаешь. Закон природы». Кажется, что и на этот раз автор не имеет намерений менять своей шутливо-непритязательной маски. Но сквозь нее проступает что-то нервное и мучительное. Казалось бы, здесь один шаг до трагической иронии. Впрочем, Фейгин его не делает...

Собственно говоря, история, нам поведанная, не райская притча. Речь в ней идет о таких вещах, которые мы обычно стараемся не замечать. Фейгин заглянул в «исподнее белье» нашей жизни. Захлопнемся от «тьмы низких истин»? А если не получается? В недавнем романе В. Белова «Все впереди» эти «истины» так измучили автора, что он не удержался в границах художественности, вырвался на простор проповеди, к философии немедленного поступка. Герой романа пожелал принять всю «грязь» на себя. Тут логика максималистская: если кто-то, то и я. Более того, не кто-то, а я, потому что мне не дано права оставаться «чистеньким». Иногда кажется, что мы переусложнили жизнь метафорами и перестали воспринимать вещи в их первичном смысле. Вот и быт, оказывается, имеет не переносное, а прямое значение. И не надо закрывать глаза на те или иные его проявления, какими бы нелепыми они ни казались. Тогда и окажется, что возможны только два пути: либо в «проповедники», либо в «трагические ироники». А если серьезно: не надо ни нравочений, ни страусовской «слепоты» — просто пусть почаще приходит спасительное чувство вины. Даже перед таким иезуитствующим героем, как Егор Грачев, вылавливающий бездомных собак.

Егор Грачев — профессионал в своем деле. И профессионал, как это ни парадоксально звучит, высокого класса. Самозабвенный поэт. Философ. Философия такова, что «должен же кто-нибудь заниматься этим грязным делом». Тут не возразишь, в самом деле, должен же кто-нибудь. Во-вторых, Егор Грачев искренне считает себя санитаром природы. Он хорошо знает, какую опасность представляют собой бездомные собаки! Ссылается на полезность! На долг! На неустрашимость законов природы! И т. д. И т. п.

Все так. Но оттого, что грязным делом «должен же кто-нибудь заниматься», оно не становится менее грязным. И в то время, когда Грачев в своей «философии» доходит до бюрократического маразма, его невинной жертвой становится всеобщая любимица маленького провинциального городка — того самого, в котором нашему герою довелось получить всю «порцию» «общественного презрения».

Путаница в голове Егора Грачева ужасающа, а рассказ Фейгина — призыв думать о вещах, мало располагающих к уютному и комфортабельному созерцанию жизни.

Можно ли с этим жить? Белов не знает, он выводит роман за рамки художественного повествования, разрушает его.

Фейгин — в замешательстве. В ироническом замешатель-

стве. «Проклятые вопросы» не разрешаются. В обозримом будущем, по крайней мере. Они остаются и формируют стиль.

А мы, читатели, еще раз убеждаемся, что в жизни все очень непросто и все требует своего, незаемного имени, каждая проблема и каждое лицо. И белое должно называться белым, а черное — черным, даже если это «чреватое» трагедией. И не стоит обольщаться «общими фразами», вроде той, что исследовал Фейгин в повести: «все профессии равно прекрасны и важны». Это вводит в заблуждение не в меру доверчивых людей. Наверное, только тогда и можно будет извлечь урок для жизни...

У Цыбулевского есть строчка: «Бродить и бредить, бредить и бродить...». У теперешнего поколения «поэтическое опьянение» жизнью — довольно тревожный и короткий период, это — непозволительная для прагматических будней роскошь. И, может быть, когда-нибудь, когда будет время «перевести дух», мы позавидуем тем, кого хватило на эту бескорыстную влюбленность. У кого это состояние молодости души сохранилось и тогда, когда сама молодость осталась далеко позади. Такова интонация монолога Фейгина о Тбилиси и тбилисцах.

Его лирический герой представляется мне таким патриархальным городским жителем, отнимающим у «деловых людей» их «деловое» время. Патриархальным — в смысле противопоставляющим себя определенным приметам нового бытия. Фейгин не боится казаться ветхозаветным. Он спешит сохранить черты уходящего: культуру неторопливого городского общения, ориентированного на эпическую основательность и плавность. С легкостью включающего в лирическое сознание героя рассказ, и сказку, и легенду, и «историю бабы Груни».

Фейгин не открывает новых истин, он обращает нас к хорошо проверенным старым. К надежным ценностным критериям, сформулированным войной и освященным авторитетностью народного сознания. Лучшее в повести — «Солдатская легенда о солдате и мышонке» — пронзительный «рассказ о человеке, который не пожелал вовлечь в наши кровавые распри доверившегося ему меньшого брата». В легенде, к которой так часто прибегает Фейгин, есть безоговорочность и прозрачная ясность народной мудрости.

Что делать, если из своего времени не «вывалиться», и Дворец Детских Радостей, превращенный в Храм Авто-Запасных Частей и Покрышек не просто очаровательный анекдот? Увы, и небо из старинной поэтической реалии стало одной из эмблем экологического апокалипсиса.

14035940
0105111033

Что касается веселого, звонкого смеха, с которым мы «расстаемся со своими недостатками», то он как-то не получается. Грустные истории рассказывает нам писатель Эммануил Фейгин.

99 вопросительных знаков — это то, что остается на исходе дней.

Беспокойство, сомнение, тревога, «симптоматические мысли» старого человека, необходимость подводить итоги, которую навязывает жизнь — все это потребовало от писателя колоссальной собранности. Перед нами как будто прежний Фейгин: маленькие психологические зарисовки, уличные сценки, незатейливые истории. Но есть здесь особая чистота тона, предельный лаконизм и одухотворенность. Это — лучший Фейгин.

...99 вопросительных знаков к себе и жизни. И один — утвердительный. Утверждающий. Он помогает жить и не поддаваться сомнению в этом переусложненном вопросах мире.

Цикл венчает миниатюра «Ходи!». В ней чабан по имени Юсуф, уставший от возраста и болезни, приказывает себе и старому мерину Буцику: «Живой — ходи, куда живой! Ходи! — И Буцик, слегка вытянув шею, тотчас же зашагал вслед за ним. А за старым Юсуфом и старым Буциком пошли и мы, молодые, тогда еще молодые, Омари и я».



ХРОНИКА

ШЕВЧЕНКО НА ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Завершен многолетний труд — на грузинский язык переведена лирика Тараса Шевченко. Этот перевод произведений великого kobzarya осуществлен лауреатом премии имени Шота Руставели Джансугом Чарквиани. Лирику Шевченко на грузинском языке к 175-летию со дня его рождения выпускает в свет издательство «Мерани». Это будет подарочное издание с

предисловием видного украинского поэта Ивана Драча. Книгу украсят иллюстрации, выполненные самим великим kobzarem.

Восемь лет назад Джансуг Чарквиани впервые перевел три стихотворения великого сына украинского народа. По его же словам, нынешний перевод вызван к жизни настоятельной душевной потребностью еще раз высказать свою любовь братскому народу Украины.





Паата НАЦВЛИШВИЛИ

Последнее интервью

В 1918 ГОДУ еще раз — теперь уже в последний! — на Грузию напали сельджуки. В связи с этим 8 апреля того же года на специальном заседании профессорского совета Тбилисского университета, созданного всего за два месяца до этого, было принято следующее постановление:

«Университет не закрывать, чтение лекций не прекращать; для студентов и слушателей, которые уйдут на фронт, пропущенные лекции провести заново.

Обратиться ко всем, в ком есть силы, принять все меры для обеспечения безопасности университета, музея и прилегающих к ним территорий, дабы не стали они полем боя.

В случае опасности профессора должны остаться на своих местах и защищать университет».

Под этим документом поставили свои подписи девять грузинских ученых, подлинных рыцарей своей отчизны, коими и являлись Петре Меликишвили, Иванэ Джавахишвили, Эвхтиме Такашвили, Корнелий Кекелидзе, Филипе Гогичайшвили, Акакий Шанидзе, Шалва Нуцубидзе, Георгий Ахвледзиани, Иосеб Кипшидзе.

С одним из тех, кто входил в эту когорту прославленных деятелей науки Грузии, готовых защищать университет ценой собственной жизни, мне еще год назад довелось встретиться. Это был Акакий Шанидзе, которому тогда исполнилось сто лет!

До этой круглой даты оставалась всего неделя, когда мы

с одним из учеников юбиляра, редактором журнала «Грузинский язык и литература в школе» Тамазом Квачантирадзе посетили Акакия Шанидзе. Хозяин, одетый по-домашнему, сидел в кресле. Улыбнулся, пожал нам руки. Мы знали, что его нельзя утомлять, и потому после поздравлений сразу же перешли к делу.

Я спросил, в чем секрет его долголетия. Может, он нашел какой-то эликсир?

Тамаз взялся быть между нами посредником, точнее, «переводчиком»: он присел рядом с хозяином и повторил ему мой вопрос в самое ухо. Со слухом и зрением у него стало хуже. Но реакция была по-прежнему молниеносная: не успеешь задать вопрос, а ответ уже готов! И память крепка, как раньше: он помнил такие детали, что мы диву давались. И в логике ему не откажешь, и в живости речи, сдобренной неизменным юмором.

— Секреты долголетия знают те, кто прожил больше ста... Хотя все дело, наверное, в генах: моя мать прожила 87 лет, а отец — 88.

— Но вы пережили обоих. Более того, трудитесь в своей области, как и прежде, — сказал Тамаз.

— Ну, не совсем как прежде, но все-таки. Вина я никогда не пил, папирос не курил.

— Даже в молодости?

— Нет! Совсем нет! Не пил, не курил, в карты не играл, да и на другие зряшные дела времени и энергии не тратил.

— А я слышал, что кавказские студенты в Петербурге не избегали многочисленных соблазнов...

— Было, было, хотя сам Петербург здесь ни при чем. При желании и в своей деревне можно отыскать соблазны. Монахом я, правда, не был, но книги, занятия требуют, как вы знаете, умеренности во всем.

— Могу засвидетельствовать, что вы не враг застолья.

— Да, уважаемый вы мой... Однако пьющий не только в науке ничего не добьется, да и до моих лет не доживет.

Сегодня в Грузии днем с огнем не сыщешь образованного грузина, который не выучился бы грамоте по учебнику родного языка Акакия Шанидзе. Со времен Парнаваза не много было у грузинского языка подобных ему преданных радетелей. Еще в 1930 году издал он «Грузинскую грамматику» — пособие для студентов вузов. Это была первая научная грузинская грамматика, сыгравшая огромную роль, с одной стороны,

в научном изучении грузинского языка, с другой — в приобщении молодежи к родному языку на новом, более высоком уровне.

Ровно через 55 лет после этого события, в мае 1985 года академик Акакий Шанидзе получил из Соединенных Штатов Америки письмо следующего содержания:

«От имени Центра по изучению балканских и славянских языков и языковедческого отделения Чикагского университета разрешите с большой радостью сообщить Вам, что конференция по вопросам кавказской культуры и кавказских языков на четвертом международном конгрессе неславянских языков Советского Союза была посвящена Вам, как попытка воздать должное Вашим многочисленным работам в области грузинского и картвельского языкознания и филологии. Мы, работающие над богатейшими материалами о кавказских языках и культуре, здесь, на Западе, во многом обязаны Вам, Вашим научным трудам, которые познакомили нас с Вашей страной. Благодаря Вашим работам по грузинской грамматике этот далекий, трудный для нас язык, стал понятен и близок. Вот почему мы решили посвятить Вам нашу встречу.

Мы счастливы также сообщить, что все работы по кавказскому языкознанию, представленные на конференцию, будут опубликованы в юбилейном издании, также посвященном Вам.

Примите нашу сердечную благодарность за Ваш неоценимый вклад в мировую науку.

С уважением (это слово написано по-грузински — П. Н.) Эрик Хамп (председатель конференции), Ховард Аронсон и Бил Дарден (сопредседатели)».

К письму были приложены программа конференции, на титульном листе которой грузинскими буквами набрано «Посвящается 98-летию со дня рождения Акакия Шанидзе» и поздравление также по-грузински «Приветствуем!», под которым стояли подписи трехсот человек, из них 8 — по-грузински.

Иначе как мировым признанием грузинского ученого и его вклада в науку, это не назовешь.

Я встречался с ним и раньше, причем каждый раз в университете. Помню, видел, как он поднимался по лестнице в первом корпусе вместе с Георгием Ахвледиани. Ахвледиани держал свою палочку — неразлучную спутницу последних лет — так, чтобы при надобности на нее мог опереться и Акакий. Так они и шли, поддерживая друг друга. Каждому было за восемьдесят. Если в школьные годы Шанидзе был для меня

лишь именем с книжной обложки, то в студенческие — стал реальным, земным человеком. Я видел крепкого, но уже пожилого мужчину, который чувствовал себя в университете, как в стенах родного дома, где внукам и правнукам нет числа.

Для меня каждая встреча с ним была встречей с XIX веком, с Акакием Церетели, Важа Пшавела...

В девятом номере журнала «Мнатоби» за 1960 год Шанидзе описывает свою встречу с Акакием Церетели:

«В декабре 1908 года прошли юбилейные дни Акакия в Тбилиси (7 дек.), Кутаиси (14 дек.) и Баку (21 дек.).

В Кутаиси в то время мужских гимназий было две — классическая и дворянская. В классической в свое время учился сам Акакий Церетели, и поэтому, ясное дело, все старшие классы были вовлечены во всенародное празднество. Мы решили праздновать юбилей осенью 1908 года и обратились за разрешением. Разрешение запоздало (дирекция гимназии отнеслась к делу без особого энтузиазма), и торжества были перенесены на 8 января (на самом деле юбилейный вечер состоялся 18 января — П. Н.).

На юбилей мы, конечно же, пригласили Акакия. Ученики привезли его на фэртоне Мелиа. Заседание состоялось в актовом зале гимназии, на втором этаже. Дорогого юбиляра усадили в кресло перед сценой. На вечере присутствовали ученики (как нашей гимназии, так и дворянской и реального училища), учителя и несколько человек приглашенных.

Мы приготовили в подарок гостю рисунок «Гоча—Акакий», который выполнил мой товарищ из 8-го класса, впоследствии известный художник Давид Какабадзе. Гоча, стоящий под чинарой, в высокой руставелевской шапке — поэт из акакиевской «Лукавой Тамары» — казался нам олицетворением самого Акакия».

Четвертый сын псаломщика Габриэла Шанидзе и Эпизо Шарашенидзе учился в приходской школе села Нога.

«Первый раз я пошел в школу в феврале. Босиком по заснеженной дороге. Азбуке я уже к тому времени выучился от старшего брата. Священник Владимир Канделаки меня экзаменовал. Вначале он велел мне читать алфавит слева направо, а потом справа налево — думал, что я зазубрил буквы на слух. Я не сбился. Потом он стал показывать буквы вразброс. Я все прочитал правильно. После этого меня приняли в приходскую школу, которая располагалась на первом этаже

учительского дома и отапливалась камином, для чего каждый ученик ежедневно приносил из дома хворостину».

За приходской школой последовало духовное училище. Во время летних каникул он наезжал домой и вместе с братьями помогал родителям: приносил дрова из лесу, ухаживал за скотиной, носил зерно на мельницу, пропалывал кукурузу.

По окончании училища семнадцатилетнего Акакия как отличившегося в учебе рекомендовали в Тбилисскую духовную семинарию, но за неимением средств он был вынужден продолжить учебу в кутаисской классической гимназии.

«В гимназии изучали языки — латинский, французский, немецкий, которым я в приходской школе не обучался. С одним языком я бы еще справился, но сразу с тремя, самостоятельно... Потому меня приняли в третий класс, хотя остальные предметы я знал так, что вполне мог оказаться в пятом. Но потом все-таки «перепрыгнул» один класс: из пятого — прямо в седьмой»...

В кутаисской гимназии одноклассниками его были в дальнейшем известный грузинский художник Давид Какабадзе, поэт Валериан Гаприндашвили и скульптор Николай Канделаки.

Наибольшее влияние на него оказал блестяще образованный, талантливый педагог Мелитон Чоговадзе, о котором очень высоко отзывался Акакий Церетели в прощальном слове у могилы учителя. Запомнился по гимназии и Гедeon Церетели. Самое светлое воспоминание о духовном училище — Андриана Бенашвили.

Шанидзе с благодарностью вспоминал академика Нико Марра: «Всем нам, своим соотечественникам, он оказывал большое внимание — Иванэ Джавахишвили, Вуколу Беридзе, Эвсеву Микеладзе, Иосебу и Давиду Кипшидзе, Владимиру Путуридзе... В то время студентам стипендию назначали после сессии. Разве я забуду, что благодаря Марру мне уже на первом курсе назначили стипендию — 25 рублей. Между прочим, в то время существовала и «переходящая» стипендия: одна актриса пожертвовала университету 10 000 рублей, из которых 34 рубля ежегодно выдавали лучшему студенту какого-нибудь факультета. Я был на четвертом курсе, когда эту стипендию передали на факультет восточных языков. Марр представил меня и после совещания сказал: «Я очень рад, что все единодушно меня поддержали».

В Петербургский университет он был зачислен в 1909 году. Наряду с Н. Марром, который вел курс грузино-армянской филологии, его преподавателями здесь были приват-доцент

Н. Адонц (история Армении и новый армянский язык), профессор В. Жуковский (персидский язык), приват-доценты А. Шмидт (арабский язык), И. Крачковский (история арабской христианской литературы) и А. Хабаши (новый арабский язык), профессора В. Бартольди (история Востока) и И. Бодуэн-де-Куртене (общее языкознание), приват-доценты Л. Щерба (экспериментальная фонетика) и И. Джавахишвили (история Грузии).

Последний еще в 1907 году основал в Петербургском университете «Научное общество грузинских студентов», председателем которого стал Шанидзе.

«До меня председателем был Иосеб Кипшидзе, в 1911 — 1913 годах — я, после меня — Георгий Читаиа. По инициативе Иванэ Джавахишвили мы составили анкету и распространили среди грузинских студентов, обучающихся в России и за рубежом; вопросы были относительно избранной профессии, знания языков и так далее... Эта анкета выявила много важного. Раньше, например, считалось, что грузинские студенты стремятся в основном на юридический факультет, что большая часть студентов ведет праздный образ жизни и тому подобное. Анкета показала, что среди грузинских студентов велик интерес к наукам, что этот интерес разнообразен... Поэтому стало ясно, что в грузинском высшем учебном заведении в этом отношении проблем не будет».

В 1913 году Шанидзе закончил полный курс обучения в университете и по рекомендации Марра был оставлен на кафедре грузино-армянской филологии для подготовки к профессорской должности. Через два года он успешно сдал экзамены на звание магистра по грузинскому языковедению и приступил к описи грузинских рукописей, хранящихся в Петербургской публичной библиотеке. До того, только-только закончив курс, направился в горные районы Грузии для изучения диалектов горцев.

В 1914 году его направили в Эчмиадзин для работы над армянскими рукописями, но командировка оказалась неудачной. В Эчмиадзине молодой ученый заболел малярией и уехал в Гумбр, или Александрополь (сегодняшний Ленинакан), где, как только поправился, взялся за изучение нового армянского языка. Летом 1916 года по заданию грузинского исторического и этнографического общества А. Шанидзе с научной целью находился в Мингрелии и две недели провел в рачинских селах Геби и Глоле, собирая диалектологический и этнографический материал. А первая его командировка состоялась несколь-

кими годами раньше. В 1911 году факультет направил студента второго курса в Пшав-Хевсуретию для сбора диалектологического материала. В этой командировке он в третий раз встретился с Важа Пшавела...

«...Последний раз я видел Важа по возвращении из Петербурга, летом 1915 года. Он был болен и лежал в военном лазарете, который располагался в восточном крыле здания грузинской гимназии (теперешний главный корпус университета). В беседе Важа вспомнил свое пребывание в Имерети, сердечный прием, который ему оказали в Кутаиси... Зашла речь о войне. Важа сказал, что такая большая война не обойдется без больших последствий».

За войной действительно последовали большие события. Императора свергли с престола, династия Романовых пала.

Акакий Шанидзе в это время работал учителем в Тбилиси. «В 1917 году, по приезде из Петрограда, я работал учителем в мужской гимназии... Всего полгода. В том же здании, где сейчас университет...».

Как раз в то время сложилась наиболее благоприятная ситуация для создания грузинского университета.

«Иванэ Джавахишвили воспользовался сложившимся положением, пригласил к себе на петроградскую квартиру нескольких ученых и познакомил их со своими планами. В это время революционные настроения крепчали. Вскоре (в апреле) Иванэ Джавахишвили направился в Тбилиси и приступил к подготовке. Приват-доцент Иосеб Кипшидзе и я чуть запоздали, но в мае и мы были в Тбилиси. Все лето ушло на решение вопросов, связанных с созданием университета. Осенью стало ясно, что многолетняя мечта близка к осуществлению, и 21 октября я и Иосеб Кипшидзе направились в Петроград для ликвидации тамошних дел. Надо было также привезти нашу библиотеку. До Москвы поезд был забит до отказа, но от Москвы до Петрограда дышать стало легче. В Петрограде, оказывается, в это время произошли большие события, но мы ничего о них не знали. Приехали мы 27 утром, Иосеб Кипшидзе пошел на свою квартиру, я — на свою. «Что нового в городе?», — спросил я кучера. «Новость одна — во главе правительства встал Ленин». В тот же день я пошел попрощаться с Нико Марром. Он рассказал о том, что в Петрограде принят к рассмотрению проект создания грузинского университета».

Вскоре в грузинской прессе появилось историческое сообщение о том, «...что в середине января 1918 года в Тбилиси откроется Грузинский университет. Вначале будет открыто от-

деление гуманитарных наук (истории и филологии). Будут прочитаны лекции по философии, истории, литературоведению, языковедению, педагогике и социологии... Была создана профессорская коллегия, в которую вошли: Петре Меликишвили, Иванэ Джавахишвили, Иосеб Кипшидзе, Андриа Бенашвили, Корнелий Кенелидзе, Димитрий Узнадзе, Филипе Гогичайшвили, Андриа Размадзе, Свимон Авалиани, Шалва Нуцубидзе, Георгий Ахвледзиани, Акакий Шанидзе, Эквтиме Такаишвили, Иустинэ Абуладзе, Элисабед Джамбакур-Орбелиани, Артур Лайст, Илья Кипшидзе и Ванда Гамбашидзе.

Первым заведующим университетской библиотекой был избран Г. Ахвледзиани, которого в декабре 1918 года сменил в этом посту А. Шанидзе. В то же время он возглавлял и библиотечную комиссию, причем оба поста — безвозмездно.

В 1918—1920 годах был секретарем факультета, в 1917—1921 годах — секретарем профессорского совета. А с 1919 по 1987 год — почти 70 лет! — заведовал кафедрой. Сначала — грузинского языка, а с 1945 года, когда она по его же предложению была разделена на две — древнегрузинского и новогрузинского языка, возглавлял кафедру древнегрузинского языка. Кстати, это единственная кафедра в университете, издающая собственные труды.

Со дня открытия университета Шанидзе читал лекции по арабскому и армянскому языкам. А с 1919 года после кончины И. Кипшидзе — по грузинскому языку. Помимо этого, в разное время вел такие университетские курсы, как грузинская диалектология, сравнительная грамматика грузинского языка, язык Руставели, сванский язык. Им заложен фундамент преподавания кавказских языков в университете.

В 1918 году было основано философское общество Грузии и в числе других на его учредительном собрании действительным членом его был назван Шанидзе.

В 1920 году совету профессоров для защиты докторского звания им была представлена диссертация на тему «Субъективный префикс второго лица и объективный префикс третьего лица в грузинских глаголах», в январе того же года вышедшая отдельной книгой.

Его официальными оппонентами были И. Джавахишвили и Г. Ахвледзиани. Прения состоялись 9 мая 1920 года, в воскресный день, в бывшей первой аудитории университета, где ныне находится большой зал университетской научной библиотеки.

«Из-за нехватки мест посещение будет по билетам» — ре-
шило за три дня до этого правление университета.

Заседание открыл декан факультета профессор К. Кекелидзе. Секретарь Г. Ахвледiani ознакомил присутствующих с краткой биографией диссертанта — «Кирекелиумвитес».

Затем председатель Совета пригласил на кафедру диссертанта. По принятой в университете традиции, он был в белых перчатках и во фраке, взятом накануне в театре. Доклад свой он забыл дома, но благодаря уникальной памяти легко восстановил текст. Официальные оппоненты дали работе весьма высокую оценку. Шанидзе не был заранее ознакомлен ни с одним замечанием оппонентов — это было запрещено. Участие в прениях приняли и неофициальные оппоненты — профессора К. Кекелидзе и П. Мирианашвили. Защита длилась 6 часов. После этого ученый совет удалился в отдельную комнату для совещания. А. Шанидзе остался наедине с присутствующей на защите общественностью. Вскоре совет вернулся и К. Кекелидзе зачитал протокол его заседания: «После прений, согласно статье 24 университетского положения, прошло обсуждение среди всего состава факультета, и было постановлено: защиту сочинения признать убедительной. Профессор Акакий Шанидзе признан достойным звания доктора языкознания». Присутствующие восторженными овациями приняли сообщение, а университетские профессора сердечно поздравили коллегу с большой научной победой.

В том же 1920 году, после защиты первой в истории Тбилисского университета диссертации, он приступил к изучению лашхского диалекта в Сванетии. Это была первая научная командировка, организованная Тбилисским университетом.

В 1924 году вместе с Леоном Меликсетбеком и Николаем Северовым Шанидзе отправляется для научной работы в Армению. Во время этой экспедиции им были изучены надписи на грузинском языке в Коми и Тайчарухе. Это была первая научная экспедиция за пределы Грузии, организованная Тбилисским университетом. А до того, в 1922 году, А. Шанидзе и К. Кекелидзе были командированы в Москву и Петроград для эвакуации грузинских рукописей и предметов старины.

Позднее, в 1949 году, Шанидзе возглавил научную экспедицию, в которую входили академик Нико Бердзенишвили и Отар Гигинеишвили. Целью ее было выявление и изучение находящейся в Петрицонском монастыре и вообще в Болгарии реликвий грузинской культуры. Результат этих изысканий и исследований вылился в изданную А. Шанидзе в 1971 году

научную работу, которой была присуждена премия имени Ивана Джавахишвили.

В 1935-36 годах помимо университета профессор Акакий Шанидзе читал лекции в Кутаисском педагогическом институте. В 1937 году его избрали членом-корреспондентом Пражского института востоковедения, в 1938 — членом научного совета Института истории и литературы Академии наук Армении. В 1941 году он был утвержден действительным членом первого состава Академии наук Грузии, где с 1946 года руководил отделом общественных наук, а в 1948-50 годах являлся ее вице-президентом. В 1966 году А. Шанидзе стал почетным доктором Йенского университета имени Фридриха Шиллера, через год ему было присуждено звание заслуженного деятеля наук Армении, а впоследствии был избран членом филологического общества Британии.

Но, независимо от всего этого, вся его научная и педагогическая деятельность в первую очередь была связана с Тбилисским университетом. Как основоположник грузинского языкознания, он во многом способствовал его успешному развитию, как в целом и изучению грузинского языка. Не счесть сегодня его учеников и последователей — докторов, профессоров, академиков, известных грузинских языковедов, филологов. Его студентами были такие видные ученые, как Арнольд Чикобава, Варлам Топурия, Георгий Церетели.

«Академик Георгий Церетели спозаранку отправляется в лабораторию Бернхайна, чтобы взять его с собой в Джварский монастырь. Я и академик Акакий Шанидзе пешком направляемся к монастырю по улицам Иерусалима. Он прекрасно поет. Я подпеваю ему, как не раз случалось и раньше. Идем не спеша и вот уже в саду, носящем имя английского короля Джорджа, весело напеваем «Дилао-дилао». Прекрасное утро, прекрасна прогулка в такое утро по улицам и садам Иерусалима к Джварскому монастырю. Не будем спешить. Георгий Церетели и Бернхайн, наверное, еще не пришли».

Эти строки я выписал из «Палестинского дневника» поэта-академика Ираклия Абашидзе.

В 1966 году вместе с ним и Г. Церетели Шанидзе посетил Джварский монастырь в Иерусалиме, где они обнаружили портрет Руставели и изучили древнейшие грузинские надписи и рукописи.

А. Шанидзе и Руставели, А. Шанидзе и «Витязь в тигровой шкуре» — это обширная тема. Патриарх грузинского языкознания внес неопределимый вклад в изучение поэмы Руставе-

ли, ее языка. В 1937 году им было восстановлено первое печатное издание «Витязя...», отпечатанное в типографии Вахтанга VI.

Много сил и энергии отдал ученый усовершенствованию грузинских типографских шрифтов, стремясь разнообразить их. Под его руководством и при его непосредственном участии известным графиком Антоном Думбадзе были созданы две новые типографские гарнитуры — «Университет» и «Шанидзе». Наряду с этим, как председатель университетской редакционной комиссии, Шанидзе стоял у истоков грузинской научной литературы. И. Бериташвили и А. Размадзе высказывают огромную благодарность ему за издание их книг на высоком научном и полиграфическом уровне. Бессменный ответственный редактор со дня основания и до закрытия в 1930 году единственного университетского периодического научного издания «Моамбе», он известен также как несравненный издатель древнегрузинских текстов.

Но главное все же его книги. Важнейшим трудом своей жизни ученый считает книгу «Основы грамматики грузинского языка», которая, наряду с «Историей грузинского народа» И. Джавахишвили и «Историей грузинской литературы» К. Кекелидзе является фундаментом научного изучения грузинской культуры и основой основ грузиноведения.

Ее автор установил новые грамматические категории и вместе с тем создал новые грамматические термины. Некоторые из них укоренились и в международной грамматической терминологии. Таковы, например, «контакт» или «оборот», для иностранных языков обозначенный очень удобным термином — «версия», коим является «скрива» (ряд). В Большой Советской Энциклопедии о нем сказано так: «ряд (или скрива) — термин, предложенный грузинским языковедом А. Г. Шанидзе».

Большой вклад внесен им в изучение и развитие грузинской диалектографии и лексикологии, эпиграфики и практических вопросов литературного языка.

В течение ряда лет он был председателем постоянной комиссии по установлению норм грузинского литературного языка.

С его именем, как основоположника новой отрасли языкознания и филологии — албанологии, связано открытие алфавита вымершего народа — кавказской Албании, изучение его письменности и языка.

Вот что писали о нем современники:

«...большой знаток как кавказских, так и переднеазиатских и европейских языков. Его работы имеют международный

резонанс. Большой ученый, он всегда был истинным и верным сыном своего отечества. Им воспитано несколько поколений ученых. За это его и любит грузинский народ». (Константин Гамсахурдиа).

«...один из блистательных сынов Грузии, чьим учеником и другом я являюсь, и это для меня величайшая честь. Его работы значительны не только для грузинского и картвельских языков, но и для всего языкознания в целом». (Рене Лафон).

«Велик и неизмерим вклад Акакия Шанидзе в грузинскую филологию и, в частности, в языкознание. И если сегодня говорят о больших достижениях грузинского языкознания, то это в первую очередь его заслуга» (Корнелий Кекелидзе).

«...особое явление в истории грузинской науки. Несмотря на то, что в Петербургском университете он не получил классической подготовки (здесь он больше готовился как филолог широкого профиля, нежели непосредственно лингвист-теоретик), благодаря созданной им грузинской грамматической системе, оказался предвестником того теоретико-лингвистического течения, которое сейчас называется структурно-функциональным: и хотя он не давал целостной формулировки своей лингвистической концепции и методологии, если судить по используемым приемам и методам в исследовании языка (в данном случае — грузинского)... лингвистическая теория Акакия Шанидзе должна рассматриваться как структурно-функциональная. В истории языкознания ее можно сравнить с течением, которое впоследствии сформировалось как теория Сосюры и структурализм пражской школы языкознания» (Тамаз Гамкрелидзе).

Начиная с шестидесятых годов Шанидзе твердо отстаивает две свои идеи — введения в грузинский язык заглавных (прописных) букв, согласно утвердившейся в европейских языках функции, и изменение двадцатичного счета на десятичный. Но пока эти две его оригинальные идеи не нашли практического воплощения, хотя книги и сборники, посвященные ему, часто печатаются с использованием заглавных (прописных) букв.

В своей новогодней речи, напечатанной в газете «Ахалгазда комунисти» за 1 января 1956 года, маститый ученый обратился к молодежи со следующими словами:

«Молодежь!

Слышал я, что есть две вещи, которые человек начинает ценить, лишь когда потеряет, — это молодость и здоровье. Несомненная истина. И то, и другое — неоценимые сокровища.

Все знают цену здоровью, но то, что молодость — великий

дар, понимает не каждый молодой человек, и потому не ценит его и не пользуется этим сокровищем соответствующим образом.

И действительно, в молодости человек приобретает основной багаж знаний, в молодости выбирает специальность и окончательно направляет свою жизнь по одному определенному пути, в молодости ставит перед собой цель, ради которой готов пожертвовать собой, в молодости выбирает спутника жизни и так далее. Но есть еще одно обстоятельство. Молодость говорит: «Если б я знал», а старость: «Если б я мог». В этом диалоге заключена большая истина, которая получена и проверена в результате жизненных наблюдений на протяжении веков. Эта истина состоит в том, что у молодого человека не хватает знаний, опыта, но зато у него есть возможности, которые надо соответственно использовать. Молодой человек обязан во многих случаях советоваться со старшим и принять его совет. Молодежь — это тот надежный резерв, который обязан заменить вышедших из строя людей старшего поколения».

Во время моего последнего посещения батони Акакия я напомнил ему эти слова и попутно спросил, что он думает о нынешней молодежи, что бы хотел ей посоветовать.

— Современная молодежь — поколение хорошее. Она многое может сделать и делает. Я надеюсь, что из этой молодежи вырастут прекрасные люди. Они в свое время заменят нас и займут достойное место в обществе. — Здесь он ненадолго задумался, потом продолжил: — Мало нас, грузин. Молодые рожают одного ребенка и этим довольствуются, ибо трудно растить детей. Но как бы трудно ни было, все равно мы должны это делать. Говорят, когда я родился, отец мой осерчал. Девочку хотел, мой дорогой, поскольку мальчикам образование должен был дать. А это было трудно в ту пору. Но, как говорят, мальчик этот оправдал свое появление на свет!»

Батони Акакий улыбнулся, и лицо его просветлело.

— Известно, что многие ваши ученики стали впоследствии известными учеными...

— В разное время моими студентами были академики Варлам Топуриа, Арнольд Чикобава, Георгий Церетели, зарубежные кавказоведы — норвежец Ганс Фогт, поляк Ян Браун, немец Юлиус Асфальг и многие другие.

Затем Акакий Шанидзе и Тамаз Квачантирадзе вновь вернулись к вопросам языкознания.

Я прислушивался к их беседе, щелкал фотоаппаратом. Пер-

вое интервью Т. Квачантирадзе с А. Шанидзе было напечатано в 1978 году в журнале «Мартве», а второе — в 1982 в журнале «Грузинский язык и литература в школе». Перед тем, как прийти сюда, я перечитал их и с разрешения автора начало первого включил в свой очерк:

«— Сколько языков вы знаете?

— Один — грузинский.

— Извините за неточно сформулированный вопрос — я не имел в виду абсолютное знание.

— Абсолютно я и грузинского не знаю, и вообще невозможно, чтобы один человек располагал абсолютным знанием чего-либо.

— Тогда так: сколько языков вы можете воспринять, какими пользуетесь при научных исследованиях?

— О, это другое дело. Даже Нико Марр, воспринимавший несколько десятков языков, официально заявил, что знает всего два — русский и грузинский. Я не могу похвастаться таким знанием языков, как Марр, но при исследованиях пользуюсь классическими, кавказскими, восточными и европейскими языками. Языки забываются. Некоторые позабыл уже».

В своем втором интервью, в связи с девятидесятилетием ученого, Тамаз Квачантирадзе полусерьезно-полусерьезно «уговорил» его еще на одно интервью через пять лет. И вот прошли эти пять лет, и оно состоялось. Столетний ученый спокойно и интересно отвечал на вопросы коллеги, который более чем вдвое моложе его. Во время беседы он активно жестикулировал, и каждое второе или третье его предложение было окрашено народным юмором.

— Сегодняшняя беседа получилась немного куцей. Видно, и щелчки фотоаппарата мешали, — поглядывая на меня, произнес Тамаз, — так что прошу вашего разрешения встретиться еще раз.

— Ну что ж, будем ждать столетия? — улыбнулся хозяин.

— На вас надеюсь, но как бы не подвел я, — сказал Тамаз и «застолбил» за собой право на еще одно интервью через 10 лет.

А я остался доволен и тем разговором. Хотя, конечно, не отказался бы от интервью с Шанидзе через 10 лет.

Я взглянул на часы. Прошло довольно много времени. Было заметно, что и хозяин утомился. Мы сфотографировались на память и еще раз поздравили его со столетним юбилеем. Прощаясь, я непроизвольно прильнул к его руке. Он вырвал

ее, вздрогнул. Пожалуй, даже рассердился. Зная его феноменальную память, я подумал: а вдруг он вспомнит про это два, пять или десять лет спустя (стучу по дереву)?

Постскриптум спустя месяц

И хотя усердно стучал я по дереву, «колдовство» это помогло всего лишь на месяц. Еще не стихли отзвуки юбилея славного ученого, когда мы узнали скорбную весть — 29 марта 1987 года Акакий Шанидзе скончался.

С его кончиной закрылась последняя страница одного увесистого тома истории Грузии, грузинской культуры. Скончался не только большой ученый и патриот. Ушла целая эпоха.

Это был человек-символ, живой мост между поколениями, большой учитель.

Состоявшиеся в оперном театре в день его рождения — 26 февраля 1987 года юбилейные торжества, посвященные столетнему юбилею Шанидзе, были одним из самых значительных и впечатляющих событий в жизни нашего общества.

Бессмертием Акакия Шанидзе был тот изысканный грузинский, на котором обращались к нему английские и немецкие картвелологи. Бессмертием его было награждение высшей национальной наградой — премией Руставели.

Месяц назад я, пораженный и взволнованный, взирал на сидящего в кресле столетнего ученого и даже предположить не мог, что вижу его в последний раз.

Перевод Бесика УРИГАШВИЛИ



ХРОНИКА

ГРУЗИЯ — ИНДИИ

В Москве, в посольстве Индии в СССР демонстрируются живопись и графика народного художника Грузии, профессора Тбилисской академии художеств Коки Махарадзе и старшего преподавателя кафедры рисунка академии Фериде Манагадзе. Представленные на вернисаже ком-

позиции, пейзажи, зарисовки, жанровые сцены созданы супругами во время путешествий по сказочной стране Индии. Участники многочисленных республиканских, всесоюзных и международных выставок живописи Коки Махарадзе и Фериде Манагадзе получили на своем очередном вернисаже лестные отзывы любителей и критиков.



Гиви ЖОРДАНИЯ,
Зураб ГАМЕЗАРДАШВИЛИ

Никифор Ирбах— грузинский дипломат

1.

20-е — 30-е годы XVII века — грань между средневековьем и новым временем — один из самых сложных периодов в истории и Запада, и Востока. На Западе свирепствовала так называемая Тридцатилетняя война (1618 — 1648), в которой столкнулись две группировки государств, на Востоке, в Передней Азии шла непрерывная борьба османов с Ираном, достигшим особого могущества при наиболее выдающемся представителе династии Сефевидов, шахе Аббасе I (1587—1629). Эту борьбу стремились использовать обе группировки западных государств, каждая в собственных интересах.

Находившаяся на стыке Востока и Запада маленькая Грузия, политически раздробленная и, благодаря политике Ирана и Османской империи, изолированная от внешнего мира, была поделена на сферы влияния: Восточная Грузия находилась в вассальной зависимости Ирана, а Западная — османов.

В течение двенадцати лет (1613—1625) длилось ожесточеннейшее противоборство Картли и Кахети с иранскими агрессорами, посредством свирепой политики стремившимися к полному порабощению Восточной Грузии. Правда, временно, в

течение восьми лет (1625—1632) она смогла объединиться в единое Картлийско-Кахетинское царство под властью выдающегося государственного деятеля, царя Кахети Теймураза, с которым Аббас I вынужден был с 1626 года вступить на путь политического компромисса и заключить мир.

Однако компромиссная политика, проводимая Ираном и Картлийско-Кахетинским царством, была лишь временной передышкой. Уверенный в том, что рано или поздно шах возобновит попытки инкорпорации Восточной Грузии, Теймураз прилагал все усилия, направленные на соби́рание национальных сил и подготовку страны к новой борьбе за полную независимость. Вместе с тем он искал пути избавления ее от дипломатической изоляции и потому уже с десятых годов XVII века вел с османами переговоры, способствовавшие возбуждению военных действий против Ирана (1616—1619). Да и позднее (1620) им делались попытки, правда, тщетные, поднять султана против шаха. Тогда же с целью получения военной и дипломатической поддержки были установлены дипломатические отношения с русским правительством. Позднее они в значительной степени развились и окрепли.

Как только Теймураз объединил оба царства — Кахети и Картли, уже в 1625 году у него зародилась идея дружеских контактов с западными странами. Особенно он был заинтересован в заключении военно-политического союза с Испанией, который, по его замыслу, должен был стать ядром мощной коалиции, направленной против одной из великих мусульманских держав, преимущественно против Ирана. В ее организации, по идее грузинских политиков из окружения Теймураза, особо важная роль возлагалась на главу римско-католической церкви — папу римского.

С другой стороны, инициатива установления подобных отношений шла и с Запада, от папства.

2.

Отношения и переписка между правителями Грузии и римскими папами, как об этом свидетельствуют архивные материалы, разысканные М. Тамарашвили, восходят к первой половине XIII века, когда папы находились в зените своего могущества. Да и позже римско-католические миссионеры время от времени наезжали как в Восточную, так и в Западную Грузию. Однако эта связь носила спорадический характер. Регу-

лярными эти контакты становятся лишь с 20-х годов XVII века.

Вновь основанная в Риме (1622) Коллегия кардиналов, так называемая Священная Конгрегация Пропанды Веры (Пропанда фиде), в 1626 году пришла к убеждению о целесообразности организации римско-католической миссии в Восточной Грузии, в царстве Теймураза. Толчок этому дали две докладные записки, поданные почти одновременно. Одна из них — о мученической смерти матери Теймураза, царицы Кетэван, составленная, согласно мнению Р. Гюльбекяна, португальцем, августинским монахом Амброзио душ Анжуш — была подана доминиканским монахом-миссионером Грегорио Орсини (февраль 1626), а другая, под названием «Информация о Грузии» (март 1626), принадлежала известному путешественнику и пилигриму Пьетро делла Валле. Согласно исследованию историка римско-католических миссий Амброзио Эссера, с момента своего основания Священная Конгрегация обратила особое внимание на Ближний Восток. Еще в июне 1622 года она призвала генералов религиозных орденов с тем, чтобы их теологи приступили к изучению восточных языков и начали создаваться соответствующие школы для миссионеров, посылаемых в страны Востока. Миссии были направлены в Крым и Восточную Грузию. В Крыму, в Каффе (Феодосия) была основана миссия доминиканцев (1625), а в столице царства Теймураза, городе Гори — две миссии, одна — прибывшим из Ирана португальским августинцем Амброзио душ Анжушем (май 1628), другая — итальянскими театинцами, миссионерами Священной Конгрегации Пьетро Авитабиле и Джакомо ди Стефано (декабрь 1628). Заинтересованные в благосклонности Теймураза, они еще до своего пребывания в его владениях оказали весьма существенную помощь послу царя, направленному с дипломатической миссией в западные страны.

Эта миссия была возложена на выдающегося общественно-го и церковного деятеля, образованнейшего человека своего времени, потомка известного рода крупных кахетинских феодалов, представителей высшего сословия XV—XVIII веков Николая Омановича Ирубакидзе-Чолакашвили. В иночестве, будучи членом монашеского ордена святого Василия, он носил имя Никифор, а на Западе стал известен как Никифор Ирбах (имена Ирбах, Ирубачис, Ибракис, Эрбациус, Эрбачис и другие, как доказано К. Кекелидзе, происходят от первой части его фамилии — Ирубакидзе). О нем много написано. Дипломатическая миссия его явилась предметом исследований М. Та-

марашвили и других историков, а в последнее время, в 70-80-х годах нашего столетия — Г. Акопашвили, Дж. Ватейшвили и И. Табагуа.

Никифор Ирбах направился в западные страны, по всей вероятности, из грузинского Крестового монастыря в Иерусалиме, в котором в качестве инок находился в течение 13 лет (1614—1626), а позднее на протяжении 7 лет (1643—1649) являлся его настоятелем.

Обнаруженные нашими учеными (М. Тамарашвили, Дж. Ватейшвили и И. Табагуа) письма Теймураза, предназначенные: одно — испанскому королю Филиппу IV, другое — римскому папе Урбану VIII, одновременно являлись верительными грамотами, выданными Ирбаху как грузинскому послу.

В первом из них Теймураз предлагал испанскому королю заключить союз на условиях вассального подчинения Картлийско-Кахетинского царства Испании, он выражал готовность признать короля своим сюзереном-повелителем.

Высказывал также надежду, в случае согласия испанского короля заключить этот союз, на присылку к нему своего посла — «доверенного, возлюбленного и годного к тому человека», дабы установить с ним, Теймуразом, антииранский военно-политический союз и принять его в вассалы католического короля; «пусть помогут нам и сделают нас своими служителями во веки веков». Тут, видимо, имелась в виду клятва вассальной верности католическому королю.

В письме к папе Урбану VIII речь шла о римском первосвященнике как о «воссиявшем в Риме великом солнце, освещающем всю вселенную, излучающем на нас свои лучи [подобно] лампаде».

Повествовалось там и о борьбе Теймураза с «неверными», под которыми подразумевались персияне. «Уже двенадцать лет, как мы сражаемся против неверных... и не поступаю согласно их воле», — писал он, обращаясь к папе с просьбой: во-первых, утвердить его в царском сане, а, во-вторых, сообщая о своем желании установить дружеский союз с испанским королем, просил оказать ему содействие в этом.

Главной задачей, которую ставил Теймураз перед дипломатической миссией Никифора, было избавление Картлийско-Кахетинского царства от внешней изоляции и сближение его с западными державами, главным образом, с Испанией и папством, чтобы таким образом ввести его в сообщество западных христианских государей, укрепить международный авторитет, а стало быть, ослабить зависимость от Ирана.

Полагаем, Никифор имел от своего повелителя указание изменить по необходимости направленность предлагаемого им военно-политического союза, допустим, антииранскую на антиосманскую. Возможно, в письме не упоминалось о турках, потому что Никифор должен был проехать по территории, находившейся во владении султана.

3.

Как свидетельствует адресованное испанскому королю рекомендательное письмо, данное грузинскому послу иерусалимским патриархом Феофаном, дипломатический вояж Никифора, надо полагать, начался в Иерусалиме, в сентябре 1626 года.

Исходя из архивных данных, обнаруженных Дж. Ватейшвили, можно приблизительно установить время его пребывания как в столице Испании, так и в Италии. В Мадриде Никифор находился с осени 1626 года до ранней весны 1628, то есть год и четыре или пять месяцев; в Италии же, главным образом в Риме, провел вдвое меньше времени — с весны до начала декабря 1628 года, что составило восемь с половиной месяцев. Это и понятно: ведь главным объектом дипломатической миссии был Мадрид, а переговоры в Риме, по замыслу Теймураза, должны были иметь лишь вспомогательный характер.

От имени своего повелителя Никифор предложил испанскому королю заключить испано-грузинский союз, в котором роль младшего партнера брал на себя Теймураз, соглашаясь признать «католического короля» (так именовали испанского монарха) своим сюзереном. Однако в совместной борьбе против Ирана он, по существу, брал на себя главную роль: собирался предпринять сухопутное наступление против Ирана при одновременном наступлении с моря испанских военных кораблей, базировавшихся в портах Неаполитанского вице-королевства, находившегося в вассальной зависимости от католического короля.

Грузинская сторона проявляла достаточную осведомленность в напряженных международных отношениях и противоречиях, сложившихся в районе Ормузского пролива в связи с тем, что, то ли в 1622, то ли в 1623 году, персияне под командой фарсийского и ширазского бейлербея Имамкули-хана, грузинского ренегата из рода тавадов Ундиладзе, при поддержке флота английской Ост-Индской компании захватили острова

Ормуз и Кешм, весьма важные опорные базы португальцев, не оставлявших мысли об их возвращении.

Никифор старался убедить испанское правительство в том, что борьба грузин против Ирана, отвлекая значительные силы персиян, облегчала положение португальцев. А совместные действия испано-португальского флота и сухопутной армии Теймураза могли помочь союзникам одержать победу над сильным врагом, чинившим препятствия находившейся под властью испанского короля Португалии в деле сохранения ее господства на торгово-стратегических путях, ведущих на Восток. Одновременно союз с повелителем Восточной Грузии и вассальная зависимость последнего сулили католическому королю много материальных выгод.

Но наряду с этими сведениями о португальско-иранских противоречиях можно предполагать и наличие иных данных, поступавших к грузинам из различных информационных источников. Они и должны были убедить Теймураза и Никифора еще до его приезда в Испанию в том, что, несмотря на вышеуказанные португальско-иранские противоречия, Испания в своей восточной политике склонялась скорее к сближению и к дружбе, нежели к вражде с Ираном. И, безусловно, прав М. Тамарашвили, высказавший предположение о том, что просьба Никифора, с которой он обратился к испанскому правительству об объявлении войны Персии, не была легко осуществима, «...ибо в то время государи Европы дружественно относились к Персии, дабы она вместе с европейцами воевала против османов». И действительно, из двух враждовавших восточных держав — Ирана и Османского государства — главным врагом Испании было последнее.

А на внешнеполитические интересы Португалии, уже почти полвека покоренной Испанией, заправили испанской внешней политики обращали мало внимания. Если же они не соответствовали планам испанских Габсбургов, то и вовсе игнорировали их, как и в данной ситуации.

Несомненно должно было быть известно Теймуразу и Никифору о свирепствовавшей уже несколько лет в Европе так называемой Тридцатилетней войне, столкнувшей не на живот, а на смерть все силы прогабсбургской и антигабсбургской группировок европейских государств. Вместе со своей главной союзницей Австрией Испания возглавляла прогабсбургскую группировку и она уже, по существу, оказалась втянутой в войну против антигабсбургской коалиции, руководимой Францией. Сильным неприятелем стран, входивших в прогабсбургскую группировку,

ровку—Испании, Австрии (Священная Римская империя) и Польско-Литовского государства (Речь Посполитая), была Османская империя, которую Франция считала своим потенциальным союзником. Французская дипломатия прилагала все старания к тому, чтобы помирить ее с Ираном и таким образом втянуть османов в европейскую войну на стороне антигабсбургской коалиции. В противоположность этому дипломаты прогабсбургского лагеря всячески старались воспрепятствовать ирано-османскому примирению, чтобы сблизиться с Ираном и использовать его против османов.

Ясно, что при таком стечении обстоятельств Испания, для которой главным было европейское поле деятельности, желала иметь дружеские отношения с Ираном. Она не могла жертвовать своими интересами ради покоренной ею Португалии и поддерживать антииранскую политику, предлагаемую грузинским послом.

Обо всем этом грузинские политики, очевидно, были осведомлены и, посылая Никифора, учитывали, что проект антииранского военно-политического союза мог оказаться неприемлемым для испанского правительства. Поэтому допустимо полагать, что он имел в запасе и другой проект — антиосманского военно-политического союза. И это тем вероятнее, что внешняя ориентация Теймураза к моменту дипломатической миссии Никифора (осень 1626 года) резко изменилась — произошло примирение с шахом Аббасом, который поддерживал его в борьбе против великого моурава Георгия Саакадзе, ориентировавшегося на османов. К тому же идея организации антиосманской коалиции была для грузинских государственных деятелей идеей не новой (см. исследования Л. Тарди и Э. Мамиствалишвили).

Когда Никифор в ходе переговоров с испанскими королевскими советниками пришел к убеждению, что антииранская основа предложенного им испано-грузинского военно-политического союза неприемлема для испанского правительства, он представил им имевшийся у него «про запас» проект антиосманского военно-политического союза.

Этот второй проект, видимо, оказался более перспективным и вызвал серьезный обмен мнениями среди испанских королевских советников, опиравшихся на докладную записку, составленную по итогам их переговоров с Никифором. Записка не датирована, но можно предположить, что она относится к средним числам июля 1627 года.

Значительная часть этого документа, а именно первая, была

посвящена далекому прошлому Иберии, ее государственным границам, соседям, боеспособности, принятию христианства, союзу с Византией. Гораздо больший интерес представляет вторая, где содержатся сведения о Грузии первой трети XVII века. Грузинский посол представил испанскому правительству конкретный план организации антиосманской коалиции, в которой, согласно замыслам Теймураза и Никифора, должны были объединиться сначала Испания и Картлийско-Кахетинское царство, а затем — остальные враги османов: эрзерумский бейлербей Абаза-паша (Амбаса-баха Ребельдэ, то есть мятежник), запорожские казаки и другие подданные польского короля, а также иные народы, враждебно настроенные по отношению к османскому господству и стремившиеся от него избавиться.

Поход намечалось начать весной или осенью 1628 года. Испанцы с флотилией галер и войсками должны были действовать со стороны Черного моря, а Теймураз, со своей сотысячной армией и 80-тысячной союзника Абаза-паши, должен был предпринять сухопутный поход через Трапезунд и провинции Малой Азии — Каппадокию и Вифинию, главный город которой Бруса (по-турецки Бурса, древнее название Пруса) был выбран основным пристанищем и опорным пунктом, где они предполагали укрепиться и перезимовать в ожидании испанского флота и армии, а также подданных польского короля, особенно запорожских казаков, коим надлежало переправить на своих плоскодонных ладьях грузинскую рать на северный берег Пропонтиды (Мраморного моря) и через Босфорский пролив.

Имея в виду поддержку многих народов, как христиан, так и нехристиан, Теймураз надеялся, что предпринимаемый поход приобретет в Малой Азии характер национально-освободительного движения, способного избавить от османского ига народы и земли, в том числе южногрузинские области Самцхе-Саатабаго. Планируя штурм Константинополя (Стамбула) на весну 1629 года, Теймураз рассчитывал на полный успех задуманного.

Испанский королевский совет очень серьезно отнесся к предложенному грузинской стороной проекту организации антиосманского похода. 29 июля 1627 года началось его обсуждение. Присутствие на нем короля свидетельствовало о большом значении, придаваемом этому плану. Однако мнения испанских королевских советников на этот счет разделились. Некоторые из них положительно отзывались как о Теймуразе и его после, так и об их намерениях. Но большинство неодобрительно отнеслось к ним, опасаясь последствий навязываемой

войны против османов. Были взяты под подозрение как достоверность письма Теймураза, так и само грузинское посольство, реальные возможности царя и его истинные намерения относительно вероисповедания. По общему мнению, вступать в союз с ним следовало лишь в том случае, если он станет правверным римским католиком.

Для более тщательного ознакомления с делом была выделена комиссия из трех королевских советников.

В итоге детального расследования дела, возможно, связанного с расспросами грузинского посла, спустя 53 дня после первого обсуждения предложенного им проекта, 20 сентября 1627 года состоялось второе заседание. Приглашенный на него Никифор отвечал на вопросы королевских советников, подавших затем королю, отсутствовавшему на этот раз, докладную записку.

Очевидно, по рекомендации комиссии была намечена кандидатура испанского гранда, который должен был отправиться в царство Теймураза и ознакомиться на месте с положением дел в этом царстве, с его возможностями и готовностью к антиосманскому походу. Затем советники стали задавать вопросы грузинскому послу, который умно и дипломатично ответил на них. В частности, на вопрос о принятии Теймуразом римского католичества, от чего зависел успех всей миссии грузинского посла. А поскольку он знал, что это реально не осуществимо, то подчеркнул лишь «почтение и преклонение» Теймураза перед главой римско-католической церкви, уйдя от прямого ответа на этот щекотливый вопрос.

В опубликованных Дж. Ватейшвили и И. Табагуа архивных материалах нет указаний на то, как конкретно Никифор договорился с испанскими королевскими советниками по этому поводу. Думается, он добился от них решения представить это дело на усмотрение папы и кардиналов из Священной Конгрегации Пропавшей Веры. А поскольку грузинский посол из Мадрида держал путь в Рим, можно предположить, что своими доводами он надеялся убедить их признать Теймураза «правверным католическим государем» без принятия им католичества. Никифор полагал, что папа и кардиналы в конце концов согласятся с его толкованием католицизма в широком смысле слова как «вселенской церкви», а также примут во внимание самоотверженную борьбу, которую всю жизнь вел Теймураз за сохранение христианства, учтут жертвы, понесенные и его семьей, и всем грузинским народом. Положительного же решения папы было вполне достаточно, чтобы отпала и эта прегра-

да на пути заключения испано-грузинского военно-политического союза.

Как свидетельствует поданная королю его советниками докладная записка, королевские советники остались весьма довольны переговорами. В конце докладной было сказано: «...посол иберийского царя оказался умным человеком и дал нам весьма разумные ответы на все заданные ему вопросы; поэтому справедливости ради ему следует оказывать всяческий почет».

Столь высокая оценка объясняется тем, что Никифор сумел убедительностью своих доводов рассеять первоначальные сомнения королевских советников относительно «достоверности» своей миссии, склонив их к более вдумчивому обсуждению перспектив, которые сулило осуществление грузинского проекта. В итоге они сочли весьма выгодными для Испании как организацию антиосманской коалиции, так и заключение испано-грузинского военно-политического союза, поскольку это благоприятствовало бы укреплению и усилению авторитета прогабсбургской группировки, возглавляемой испанскими и австрийскими Габсбургами.

Ввиду того, что «универсальномонархические» планы прикрывались лозунгом борьбы за победу римско-католической церкви, для Испании и ее союзников особо важное значение имело приобщение главы римско-католической церкви к прогабсбургской коалиции хотя бы под видом его участия в антиосманской коалиции. Испанские королевские советники, по всей вероятности, возлагали надежды на то, что Никифору удастся склонить папу к участию в ней.

После второго заседания, посвященного грузинскому проекту (20 сентября 1627 года), в течение трех с половиной месяцев испанский королевский совет еще четырежды (1 и 22 октября, 11 ноября 1627 и 4 января 1628 года) рассматривал вопросы, связанные с грузинским посольством. Королем была утверждена кандидатура полномочия и правомочия испанского посла, направляемого к Теймуразу. По принятому решению, его путь в Грузию намечался через Москву, надо думать, в целях безопасности испанского посольства. Были заготовлены письма: одно — неаполитанскому вице-королю герцогу Альбе, которому надлежало принять наиболее активное участие в антиосманском походе, другое — графу де Оньате, испанскому послу, аккредитованному при папском дворе, третье — Теймуразу. В послании к Теймуразу говорилось, что король принимает его предложение об установлении дружественных отношений и готов оказать ему помощь. Никифору перед отъездом

было решено поднести ценный подарок, а заранее составленное письмо шаху Аббасу отослать со специальным испанским послом.

Итак, казалось бы, переговоры, которые вел Никифор с испанским правительством с лета 1627 года и до начала 1628-го, принимали весьма благоприятный оборот, приближаясь к успешному завершению...

4.

Согласно справедливому предположению М. Тамарашвили, из Мадрида Никифор отправился в Рим.

Однако при папском дворе, по-видимому, не очень-то спешили приступать к грузинскому делу.

Перед началом переговоров неременным условием было поставлено принятие грузинским послом римско-католической веры. И Никифор был вынужден свои конфессиональные принципы принести в жертву патриотическим интересам.

После этого он получил папскую аудиенцию, был радушно принят уже как «свой человек» и официально подал Урбану VIII письмо Теймураза, которое кардиналы проштудировали более чем за месяц до того и, очевидно, ознакомили с ним папу. Этот прием мог состояться либо в конце июля, либо в августе 1628 года.

Вслед за папской аудиенцией Священная Конгрегация приступила к переговорам с грузинским послом, которые он намеревался вести на основе своих предложений, состоявших из четырех пунктов, поданных в Священную Конгрегацию его переводчиком — церковным деятелем греком-униатом Иоанном Матфеем Кариофилом.

Первые три пункта сводились по существу к пожеланиям Теймураза признать его законным и правоверным католическим государем и в качестве такового рекомендовать испанскому королю. Несомненно, выполнение их имело бы решающее значение для задуманного Теймуразом союза его царства с западным римско-католическим миром. Без этого условия миссии Никифора грозил провал.

Обсуждение кардиналами предложений Никифора, вернее Теймураза, получило отражение во второй части того же архивного документа под названием «Соображения секретаря Инголи относительно предложений грузинского посла».

Судя по нему, Никифору должны были вручить папское послание, в котором делалось заявление о том, что «предло-

жения» грузинского посла будут приняты папой лишь после принятия Теймуразом римско-католической веры.

Предъявлялось также требование признания верховенства римского первосвященника всем его царством, которое должно было «соединиться с Святым Престолом» на условиях, предписанных Флорентийским Вселенским собором, провозгласившим церковную унию; то есть грузинской церкви предстояло подчиниться римскому папе и сделаться униатской, отказавшись от исконной автокефалии.

5.

Проживая в Риме в ожидании ответа на свои предложения, Никифор оказал весьма существенную помощь книгопечатнику Стефано Паолини в организации печатания грузинских книг в типографии Священной Конгрегации Пропанды Веры (о чем повествует прекрасно изданная книга А. Чикобава и Дж. Ватейшвили о первых грузинских печатных изданиях).

Ждать пришлось долго. В августе того же года Никифор дважды обращался (3 и 28) к секретарю Священной Конгрегации Фр. Инголи с просьбой ускорить решение его дела, все еще не теряя надежды на его успешный исход. Но «Соображения» Фр. Инголи, легшие в основу обсуждения его предложений, не соответствовали чаяниям грузинского посла.

А именно в соответствии с ними при папском дворе был решен этот вопрос, о чем свидетельствует хранящееся в архиве Священной Конгрегации Пропанды Веры послание Урбана VIII от 2 декабря 1628 года, адресованное Теймуразу и отправленное с Никифором. Оно было опубликовано несколько раз — историками Театинского ордена, М. Тамарашвили и, уже в наше время, И. Табагуа.

Ответ, полученный Никифором от папы и кардиналов Священной Конгрегации, означал фиаско главной цели его миссии.

Еще более повредило в глазах испанского правительства делу грузинского посольства послание папы испанскому королю, которое Никифор привез в Мадрид перед началом своих вторичных переговоров с испанцами, проходивших, надо полагать, во второй половине ноября 1628 года, ибо упомянутое выше письмо Урбана VIII датировано 18 ноября того же года. Этот любопытный документ обнародован дважды — М. Тамарашвили и И. Табагуа.

«Возлюбленному во Христе сыну нашему привет и апо-

стольское благословение, — писал папа королю испанскому Филиппу IV. — Мы усматриваем, что покровительства христианских государей достоин возлюбленный сын Ницефорус Эрбациус, монах ордена Святого Базилия, который, как свидетельствует письмо Твоего Величества, является послом грузинского царя. В то время, как в этом городе (то есть в Риме) пребывая, вел он наиважнейшие переговоры, касающиеся государства иберийцев и католической веры, мы, конечно, по мере наших сил, оказывали ему пастырскую заботу и отеческую любовь.

При его возвращении в родные края мы сим апостольским посланием рекомендуем его тем государям, через владения коих лежит его путь. Мы пожелали проводить этим первосвященническим благословением человека, которому столь благочестивое и долгое странствие посоветовало и почло для себя приятным Величество Твое, которому шлем любительнейшее наше благословение».

По всей вероятности, это послание папы Урбана удивило и раздосадовало испанцев, так как вместо ожидавшихся от него одобрения и поддержки грузинского проекта, признания Теймураза «правоверным католическим государем», «сыном папы», в нем как бы высказывалось некоторое недоверие к грузинской дипломатической миссии и вся ответственность за нее возлагалась на испанского короля.

Подобная позиция Урбана VIII, воспринятая в Мадриде как явное его нежелание вмешиваться в дела грузинского посольства и стремление как-то отмежеваться от миссии Никифора, в глазах испанского короля и его советников должна была ускорить принятие испанским правительством отрицательного решения касательно грузинских планов.

В такой ситуации отпала и необходимость отправлять послов к Теймуразу и шаху Аббасу.

В любую эпоху папство стремилось к укреплению своих позиций, исходя, конечно, из ее своеобразия.

К началу XVII столетия идея крестовых походов, осуществлявшихся в XI—XIII веках, канула в вечность. Поэтому планы организации антиосманской коалиции, выдвинутые грузинским послом, явились известного рода анахронизмом. Западные христианские государства, в том числе Франция, Венеция, Нидерланды, Англия уже с начала XVI века находили общий язык с османами, а Франция даже в некотором роде являлась союзницей Османской империи.

Точно так же изжившей себя была идея искоренения

протестантизма, идея контрреформации, присущая XVI веку, когда фанатично настроенные папы выступали в роли их главарей.

Началась новая эпоха в истории папства, эпоха Тридцатилетней войны, когда папы, гридерживаясь вполне реальной политики, начали больше руководствоваться светскими интересами, нежели церковными. Для укрепления своего авторитета они вели борьбу главным образом за сохранение независимости собственного папского государства. И такой реальный политик, как папа Урбан VIII, прекрасно понимал, что папство могло сохранить независимость своего маленького государства лишь посредством политики лавирования между великими державами, посредством «европейского равновесия сил». И тут наибольшую опасность для папства представляла испанская агрессия. Испания, благодаря своей победе, одержанной в так называемых «итальянских войнах» первой половины XVI века, изгнала из Италии вторгшихся в нее французов и распространила свое прямое господство либо политическое влияние и гегемонию на значительную часть страны. Полностью независимость сохраняли лишь некоторые ее государства, в том числе Венецианская республика и так называемая «Вотчина святого Петра» — папское государство.

Усиление Испании в любой форме вовсе не устраивало Урбана, возлагавшего свои надежды на Францию и связавшегося с антигабсбургской политикой кардинала Ришелье, равнодушно взиравшего на успехи протестантов и весьма отрицательно и даже в душе враждебно воспринимавшего успехи возглавляемой испанскими и австрийскими Габсбургами прогабсбургской коалиции. Антиосманская коалиция, которая мыслилась испанцами как филиал прогабсбургской коалиции и создание ее при участии папства и римско-католических государств под гегемонией Испании должно было необычайно усилить Испанию. И это стало особенно опасным в 1627-28 годах, когда главная союзница Испании — Австрия, достигла огромных успехов в Германии, силы чехов и немецких протестантов были подавлены, датский король, их главный союзник, разгромлен и изгнан из Германии, а потенциальные союзники протестантов — Швеция, Франция и Англия, занятые собственными делами, не могли тогда вмешаться в войну.

При подобных обстоятельствах создание антиосманской коалиции под гегемонией Испании превратило бы всю римско-католическую Европу, и в том числе римского первосвященни-

ка, в исполнителей воли Испании и прогабсбургской коалиции, выступавшей под лозунгом защиты католической церкви, против «неверных» — османов и «еретиков» — протестантов.

Конечно, вступление Урбана VIII в антиосманскую коалицию было бы пагубным шагом для его реальной европейской политики, для его независимости.

Соответственно не мог он принять и другого предложения Никифора Ирбаха относительно провозглашения Теймураза «правоверным католическим государем», «сыном папы», ибо удовлетворение этого требования грузинского посла способствовало бы заключению испано-грузинского союза и приобретению Испанией нового вассального государства, значительного ее форпоста в Азии, усилению авторитета Испании, что, по вышеупомянутым причинам, опять-таки было неприемлемо для папы. Кроме того, этот прецедент мог быть использован для приобретения звания «католического государя» и «папского чада» и другими государственными деятелями.

Таковы, на наш взгляд, истинные побуждения папы Урбана VIII в отношении грузинской миссии и причины неудачи политической миссии Никифора Ирбаха в Риме, а не ошибки, допущенные грузинским послом, как это представляется некоторым нашим исследователям...

Столь же неудачными оказались и переговоры, которые Никифор вел еще до своего второго приезда в Мадрид с неаполитанским вице-королем — герцогом Альбой. И это, в свою очередь, должно было весьма отрицательно повлиять на испанцев.

Без участия в антиосманской коалиции папы, испанского короля и его вассала — неаполитанского вице-короля антиосманская коалиция уже не могла быть организована. Это обстоятельство и обусловило нежелательное для Никифора завершение переговоров с правительствами императора Фердинанда II и польского короля Сигизмунда III, тосканского грандуки (эрцгерцога), а, возможно, и иных государств.

Послания папы к их правителям, а также помощь папских легатов во многом способствовали тому, что, несмотря на путевые тяготы, преодолев долгий путь через немецкие и польские земли и земли, находившиеся под властью султана — Молдавию и Стамбул 4 (14) августа 1629 года Никифор благополучно добрался до города Гори.

Итак, главная цель миссии не была достигнута. Несмотря на свое дипломатическое искусство, Никифор не смог добиться

заклучения испано-грузинского политического союза и создания коалиции западных римско-католических государств, в которой намеревалось принять участие царство Теймураза.

Однако вместе с тем мы не можем утверждать, как это делают некоторые исследователи, что миссия Никифора Ирбаха оказалась вовсе бесплодной и никаких положительных результатов не дала. Ведь не случайно же Теймураз был доволен результатами дипломатической деятельности посла. Поэтому полагаем, что вполне права Г. Акопашвили, когда пишет о значительных успехах его миссии.

А миссия эта преследовала цель вывести Картлийско-Кахетинское царство из внешней и дипломатической изоляции, в которой старалось ее держать мусульманское окружение, и талантливый грузинский дипломат в значительной степени этого достиг. Благодаря его усилиям европейские государства ознакомились с Теймуразовым царством. Причем правительства тех стран, с которыми он вел переговоры, могли судить о грузинском народе с наилучшей стороны по его дипломатическому представителю, достойное поведение, такт и недюжинные способности которого вызывали их искреннее восхищение. И папа, и испанский король весьма одобрительно отзывались о нем, восхваляя его личные достоинства.

Хотя Урбан VIII и отверг антиосманские планы Теймураза, грузинского посла он принял весьма благосклонно. Его рекомендательные послания обеспечили Никифору во всех государствах, где он был проездом и вел переговоры, всем необходимым — от бесплатного жилища и питания до доступа к правителям и их министрам; ему устраивались почетные встречи и проводы.

Такое взаимное сближение имело большое значение как для Священной Конгрегации Пропанды Веры, так и для грузинского дипломата. Театинские миссионеры повсеместно оказывали ему содействие, рассчитывая на помощь, которую он мог оказать им у себя на родине. По свидетельству их же реляций, отношение к ним Теймураза под влиянием его посла значительно улучшилось, создались более благоприятные условия для их деятельности, не бесполезной для грузинского населения, поскольку они в те времена являлись единственными представителями Западной Европы, связывавшими грузин, хотя и слабыми узами, с западным христианским миром.

Многим обязана миссионерам и историческая наука. Их реляции той поры — один из ценных источников для изучения жизни грузинского народа. Умные, образованные, наблюда-

тельные иноземцы своими сведениями в большой мере обогатили наши познания о его прошлом.

Особое значение имело то обстоятельство, что благодаря пребыванию Никифора в Риме было организовано печатание грузинских книг в типографии Священной Конгрегации Пропаванды Веры, непосредственным результатом которого воспользовались миссионеры, а в дальнейшем и грузинский народ получил немалую пользу. Первопечатные грузинские книги, вышедшие в 1629 и 1643 годах, сыграли большую роль в ознакомлении европейцев и европейских ученых с грузинским языком.

И наконец, еще одна положительная сторона дипломатической миссии Никифора Ирбаха. Просвещенный, наблюдательный грузинский церковный и общественный деятель, выдающийся дипломат, хорошо осведомленный в европейских делах, он, надо полагать, мог правильнее сориентировать Теймураза в его внешней политике, главной целью которой всегда являлось верное служение интересам родины, самоотверженная борьба против иноземных агрессоров и поработителей за сохранение независимости страны, самобытности ее народа. Поскольку западным странам, занятым собственными делами и противоречиями, было не до маленького Картлийско-Кахетинского царства, ждать от них какой-либо военно-политической помощи не приходилось. Следовало надеяться лишь на свои силы и искать нового внешнеполитического союзника.



В настоящей статье нами были использованы наряду с материалом из Римского архива Священной Конгрегации Пропаванды Веры труды Мих. Тамарашвили, К. Кекелидзе, Дж. Ватейшвили, А. Чикобава, И. Табагуа, К. Орсини, Э. Метревели, Г. Акопашвили.

Гулбат ТОРАДЗЕ

КОМПОЗИТОР-НОВАТОР

ПИСАТЬ о Гие Канчели — задача не только благодарная и привлекательная, но и на редкость трудная и ответственная, и вот почему: это — «звезда первой величины» на нашем, да и не только нашем, музыкальном небосклоне (по количеству исполнений за рубежом он уже давно вышел в лидеры грузинской музыки), едва ли не самый актуальный, широко дискутируемый художник.

Мало кто удостоивался стольких восторженных откликов и оценок, как он, что впрочем, не означает безоговорочного приятия «всего и вся» в его творчестве. Критические суждения (правда, в основном, устные) сопровождали премьеры некоторых его сочинений, начиная с вызывающе смелой для своего времени Первой симфонии (1966).

Все это верно, как и то, что поистине невозможно найти человека, равнодушного или же безучастного к музыке Канчели — свидетельство ее истинной творческой оригинальности и самобытности.

Писать о Канчели трудно и потому, что его отличает удивительное богатство творческой палитры: образно-художественной, жанровой, стилистической, психологической. Рафинированный интеллектуальный и чувственный мир симфоний парадоксально соседствует с балаганно-пародийным, порой прямолинейно-плакатным буйством красок и ритмов его театральной му-

зыки, тщательная выверенность и скрупулезный отбор оркестровых средств — с броской яркостью и пестротой современной поп-музыки.

Самое же трудное заключается во все еще не до конца разгаданной, как мне кажется, природе симфонической музыки Канчели, хотя за последние годы появился ряд содержательных статей, очерков и исследований, ей посвященных.

В чем секрет массового, я бы сказал, гипнотического воздействия этой яростной и прекрасной в своей самоуглубленной созерцательности музыки, когда слушатель, точно замороженный, следит за перипетиями разворачивающейся перед ним звуковой панорамы? Вот в чем главный вопрос, и, должен признаться, однозначного ответа на него у меня нет, как не нашел я его и у других авторов, писавших о Канчели.

Каждое новое прослушивание его музыки открывает какие-то дополнительные художественные грани, высвечивает дотоле скрытые, но очень важные детали и нюансы.

Самобытный, на редкость волевой и целеустремленный художник, твердо следующий по избранному пути, он долго и тщательно вынашивает замысел своих сочинений, без устали шлифует форму, композицию, оркестровку, со скрупулезностью ювелира отделяет буквально каждый такт, каждую ноту. Мало у кого столь необычайно велик удельный вес любой звуковой единицы, столь высока цена «звучащей материи».

Творческий путь Гии Канчели проходит на наших глазах. К музыкальному творчеству он пришел в зрелом возрасте (каталог его сочинений открывается 1962 годом, когда ему уже было под 30), пройдя через краткую бурную полосу увлечения джазовым музицированием, послужившим ему как бы «стартовой площадкой» для прорыва в мир «большой музыки».

Воспоминания возвращают нас к весне 1962 года, когда на Всесоюзном молодежном смотре в Москве львиную долю призов и наград завоевали дотоле не известные широкой музыкальной общественности молодые грузинские композиторы. Среди них был и студент 4-го курса Тбилисской государственной консерватории Г. Канчели (класс профессора И. Туския), удостоенный премии за «Концерт для оркестра». А вскоре последовало еще одно удачное сочинение — «Лярга и Аллегро» для струнного оркестра, фортепиано и литавр. В этих ранних произведениях, обращаясь к ним ретроспективно, мы явственно различаем черты зрелого симфонического стиля Канчели.

Дебют молодого композитора был на удивление смелым и уверенным: он быстро постиг премудрости современной техники, обратив на себя внимание развитым, чисто оркестровым мышлением, тонким чувством тембра, умелым конструированием формы.

С тех пор прошло четверть века, и вот теперь в творческом активе композитора — 7 симфоний, опера «Музыка для живых», «Светлая печаль» — музыка для хора мальчиков и симфонического оркестра, музыка к более чем 40 спектаклям (в том числе таким нашумевшим, как «Ханума», «Кавказский меловой круг», «Ричард III»), к многочисленным кинофильмам, джазовые композиции и т. д.

В апреле этого года народному артисту Грузии, лауреату Государственной премии СССР и Грузинской ССР имени Шота Руставели, Первому секретарю правления Союза композиторов Гие Канчели за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства присвоено и почетное звание народного артиста СССР.

В журнальной статье невозможно дать обзор даже основных сочинений Канчели, посему попытаюсь лишь раскрыть творческое кредо композитора, проникнуть в сокровенный мир его симфоний, ибо именно они создали Г. Канчели репутацию самобытного художника, композитора-новатора.

...Издали, как бы из недр небытия, возникает голос (так и хочется сказать, голос вечности). Он звучит очень тихо, застенчиво, поет о чем-то бесконечно скорбном и в то же время возвышенно-прекрасном. Но слушатель чувствует: внешняя отрешенность и статика музыки обманчивы, чреватые грядущими потрясениями и звуковыми катаклизмами. И действительно, тишина взрывается оглушительными, «втаптывающими» ударами медной группы — образ жестокой неумолимой силы. Драматургический принцип противопоставления полярно контрастных пластов сохраняется и закрепляется в центральном разделе симфонии. Следует генеральная кульминация с последующей длительной зоной угасания звучности. Вновь вступает голос, замирая и как бы растворяясь в эфире...

В предыдущем абзаце в самых общих чертах очерчен художественный и эмоциональный контур Третьей симфонии Канчели, но в какой-то мере он характерен и для других его симфоний. Именно подобная заданность как самой симфонической концепции, так и звуко-образного ее наполнения, не говоря

уже о яркой самобытности, позволяет говорить исследователям творчества композитора о принципиально новом типе симфонической драматургии, им созданной, о «симфонизме Канчели».

И действительно, перед нами совершенно новая, ни на что не похожая модель одного из главнейших жанров музыкального искусства. Это симфонизм без внешних черт традиционного симфонического жанра (то есть обязательного наличия в нем цикличности и так называемого сонатного аллегро), но с сохранением его «родового качества» — «непрерывности музыкального тока».

«Как хорошо он слышит тишину», — сказал когда-то М. Горький о С. Рахманинове. С полным основанием, хотя и с другим смысловым оттенком, мы можем то же самое сказать о Канчели. Драматургическая функция хрупких «пианиссимо» в его музыке действительно не менее важна, чем — насыщенных звуковых масс. Но я бы добавил, что композитор великолепно «слышит» не только тишину, но и громогласные оркестровые тутти, подобно грохочущим потокам Ниагары низвергающиеся в зал.

Здесь же следует отметить и удивительное ощущение «чистых» оркестровых тембров (солирующих инструментов).

Многомерность, объемность, стереофоничность — вот слова, которые часто упоминаются при разборе произведений Канчели. А я бы упомянул еще и романтичность и глубокую человечность музыкального мира симфоний, их гуманистическую нацеленность.

Не знаю, есть ли необходимость говорить о национальной почвенности симфонического стиля Канчели. Ее нетрудно распознать в интонационной и гармонической структуре музыки, питающейся древними пластами фольклора, в самом образном строе симфоний. Неслучайно, что у слушателей столь часто возникают ассоциации с величественными памятниками грузинского зодчества.

Органичность синтеза национального и общечеловеческого всегда отличала лучшие образцы грузинской музыки. Естественно, что в творчестве Канчели синтез этот осуществляется на самом современном уровне — от Стравинского до Вареза и Пендерецкого.

И конечно, здесь невозможно не вспомнить имя одного из столпов современной музыки А. Веберна, открывшего, по выражению И. Стравинского, «новое измерение музыкального времени». Композитора, хотя и абсолютно иной эстетической

позиции, нежели Канчели, но несомненно, служившего ему эталоном высочайшей ценой «звучащей материи» (А. Шенберг писал об одном из произведений Веберна, что в нем «каждый взгляд становится поэмой, каждый вздох звучит как роман»).

И, наконец, об одном очень важном, как мне кажется, факторе воздействия музыки Канчели — интонационной выразительности ее мелодики. Надо сказать, что она не лежит на поверхности, скорее, наоборот: зашифрована в аккордовой вязи, растворена в бесконечно тянущейся линии солирующего голоса (обычно инструментального). Но человеческий слух, испытывающий бессознательную тягу к мелодически осмысленному интонированию, безошибочно улавливает и «расшифровывает» скрытую мелодическую субстанцию музыки, что в конечном итоге и обеспечивает высокий уровень ее эстетического восприятия слушателем. Здесь нет возможности подробно говорить о ярко талантливой театральной и киномузыке Г. Канчели, ставшей неотъемлемой частью широко известных драматических спектаклей и фильмов («Не горюй», «Мимино» и других), завоевавших большую популярность.

Нельзя не сказать и о его единственной пока что работе в оперном жанре — нашумевшей «Музыке для живых».

Радикальной новизной своей формы, парадоксальным сочетанием различных художественных плоскостей — возвышенной аллегоричности и пародийной гротесковости — опера породила горячие споры и, порой, разноречивые суждения. Но единодушным и однозначным было признание ее гуманистической направленности и идейной актуальности тематики, созвучной чаяниям передового человечества, равно как и высокая оценка всего трагически-«апокалиптического» пласта оперы — страниц глубокой, пронзительно-искренней музыки.

Опера имела обширную прессу (о ней, в частности, писала и газета «Правда»), была с успехом представлена во время гастролей Тбилисского оперного театра в Москве, а совсем недавно там же в театре «Дружба».

А теперь — о новейшей его работе, недавно прозвучавшей Седьмой симфонии. Она с успехом была исполнена под управлением Дж. Кахидзе, но еще не получила развернутой аналитической оценки.

Интерес к новой симфонии подогревался тем обстоятельством, что композитор многозначительно озаглавил ее «Эпипологом» (из предшествующих шести симфоний лишь Вторая име-

ла подзаголовок — «Песнопение») и предпослал ей эпиграф (начальные строки стихотворения Г. Табидзе «Это было давно»), что обычно дает ключ к разгадке художественного содержания произведения.

И вот симфония прозвучала, как обычно, вызвав живой слушательский отклик, подлинную творческую сопричастность зала (счастливый удел лишь по-настоящему талантливых, художественно ярких сочинений!) и породив широкий обмен мнениями относительно внутренних импульсов музыки, ее формы, стиля, концепции.

Если коротко суммировать впечатление от Седьмой симфонии, можно с уверенностью сказать, что наша музыка обогатилась новым значительным сочинением, стоящим в ряду широко известных симфоний талантливого композитора. Она наделена качествами, отличающими лучшие сочинения Канчели; глубиной и, я бы сказал, выстраданностью содержания, необычайно тонким чувством оркестрового тембра, буквально магнетической силой «музыкального тока», заставляющего слушателя затаив дыхание следить за развертывающимся перед ним звуковым «потокосознанием».

Родство состоит и в излюбленном им типе симфонической драматургии, основанной на противопоставлении двух полярных образных сфер — взрывчато-трагедийной и самоуглубленно-созерцательной музыки (именно в такой последовательности, в отличие от предыдущих симфоний, дано их чередование) с мощной динамической кульминацией и последующим постепенным затуханием звучности.

Отличие же от предшествующих симфоний состоит, на мой взгляд, не только в изменении последовательности указанных образно-звуковых сфер (что здесь, по-видимому, имеет принципиальное значение), но и в необычайной даже для Канчели остроте и концентрированности трагического чувства. Лично я воспринимаю эту музыку как инструментальный реквием, рожденный болью горестных утрат и в то же время проникновенную осанну в память безвременно ушедших, своего рода симфоническое «*in memoriam*».

И тут, думается, впору вспомнить о предпосланном симфонии эпиграфе — начальной строке одного из последних стихотворений (1957) Галактиона Табидзе «Это было давно». Выбирая для эпиграфа глубоко трагическое по содержанию и именно «мемориального» жанра стихотворение, композитор как бы приоткрывает завесу над своим художественным замыслом,

сокровенным смыслом этой волнующей, пронизанной болью музыки.

Впрочем, симфония Канчели, как и любое другое подлинное произведение музыкального искусства, не нуждается в дополнительных пояснениях и пространных толкованиях. Музыка говорит сама за себя. Какова же она?

Подобно грозному «зову предвечного», звучат «аккорды-кляксы», открывающие симфонию. Они символизируют неумолимую жестокость смерти, безжалостно похищающей самое прекрасное, что есть на свете, — человеческую жизнь. Грозные аккорды перемежаются молитвенно-созерцательной музыкой, затаенными и жалостливыми небольшими мелодическими попевками. Глубоко впечатляет своей хрупкостью и «незащищенностью» тембр чембало-соло. Светлая и очень печальная музыка, своего рода инструментальная «лакримоза», ярко оттеняет сгущенный трагизм обрамляющих ее эпизодов. Постепенно музыка приобретает очертания траурного марша, неумолимого шествия, звучащего особенно жестко, беспощадно (авторская ремарка — *barbaro*). В таком чередовании пронзительно контрастных пластов музыки и формируется художественное содержание симфонии, завершающейся, как обычно у Канчели, длительной зоной затухания звучности. Слышны жалобно никнущие интонации, тихое стенание. Вместе с тем эмоциональный колорит музыки высветляется, проясняется, и вновь напрашивается образная параллель: «*Lux aeterna*», «Вечный свет» (заключительная часть реквиема). Тихое постепенное замирающее вдали «пение» струнных венчает эту печальную, волнующую поэму о жизни и смерти, о неугасимой человеческой памяти.

Г. Канчели находится в полном расцвете своего дарования и композиторского мастерства, и нет сомнения, что его ждут новые творческие успехи и достижения.



Леонардо да Винчи

с автопортрета

Печальные пряди продолжают в некой бесконечности не власами, но печалью... Нет, не продолжают—струятся, и лик, предстающий с портрета, пожелай он слегка податься вперед, воспарит так высоко, что уж уподобится откровению отнюдь не человеческого порядка. Но сам художник — создатель автопортрета — стоит на земле твердо. Он идет к нам, неся готовое сорваться с уст слово, слезы и силу. Она с нами, эта великая сила, ею исполнены каждый волосок его и каждая морщинка. Чудится, будто художник сейчас только сказал нам что-то (а этим своим взглядом он ведь воистину сказал человечеству нечто великое) и теперь, впорив в нас взор, ждет ответа. Он задал вопрос огромной значимости, наиглавнейший вопрос, в ожидании которого пришла к нему тревога, ибо уже познаны им все пути поисков ответа. И давит смятенье из глубины глубин, но, следуя своим путем, он продолжает идти — навстречу человечеству грядущих веков, а человечество идет к нему.

«Охваченный неумными желаниями, жаждущий узреть весь этот сонм многоцветных и странных форм, созданных искусной природой, блуждал я, — рассказывает Леонардо, — меж темных скал, когда вдруг очутился пред громадой пещеры. Ошеломленный, я застыл на мгновенье; не зная, что там, подался вперед, согнувшись дугой, опираясь уставшей рукой о колено, а другой затеняя сощуренный глаз, склонялся то так, то эдак, пытаюсь заглянуть поглубже, но тщетно, — взор тонул во мраке. Вскоре двойное чувство завладело мною, это были страх и желанье: страх перед суровой и дремучей пещерой, и желанье дознаться, не таит ли она в себе чего-то чудесного» (Из геолого-географических записей Леонардо).

После платоновской большой пещеры, олицетворяющей

обитель человеческой жизни, Леонардо рисует еще одну, как вместилище объятый мраком тайны вселенной и вкупе с ней неукротимо непокорный интерес к этой тайне, к этим глубинам мироздания со стороны человека. Позднее, философ уже XX века, европеец, обеспокоенный тревогой за бытие человеческое, скажет, что философия начинается с величайшей пытливости. Леонардо да Винчи — единственный среди художников, кто вошел в историю философии как мыслитель. Экстаз изумления и любознательности, жажда познания загадок вселенной приведут художника-философа к покою одиночества.

«Там, где кончалась прелестная прибрежная рощица, выше каменистой дороги, на взгорке, посреди пестрого цветного ковра, оказался красивый камешек, извлеченный перед тем со дна глубоких вод. Живописность цветов украшала собой все вокруг. А камешек лежал, поглядывая вниз, на бесчисленные камни мостовой. Внезапно и ему захотелось очутиться с ними: «Что мне тут делать, среди цветов? Разве не лучше жить со своими братьями?». И пустился он к желанному обществу, легкомысленно кувыркаясь и повизгивая в пути. Добравшись до места, какое-то время лежал спокойно, но вскоре колеса телег, конские копыта и шаги прохожих вовлекли его в нескончаемый каторжный труд: кто-то кверху подбросит, кто-то с боку на бок перекатит, а кто-то и вовсе сравняет с землей. Не раз накрывало его грязью да пометом, и напрасно глядел камешек туда, откуда ушел, в укромную и тихую обитель.

Так случается с теми, кто оставляет уединенную, полную созерцательности жизнь ради города с его вечной человеческой толчеей, ибо где люди, там и несчастья».

Было бы ошибкой думать, что смысл этой притчи — в проповеди бегства от жизни. Бесконечные суета и забота о существовании имеют в этом мире свое место и свой удел, и есть у них свои, похожие на камни в мостовой, служители. Но есть и иное бытие, более покойное и праведное, исполненное мысли и созерцания, как «имеющее быть для красивого камня и лучшее из возможных». Блестяще сформулировал эту мысль Гете:

...Нет, поведи меня на те вершины,
Где радость одиночества цветет,
Туда, где божьей созданы рукою
Обитель грез, святилище покоя.

Только там, говорит поэт, в святилище покоя, может вынашиваться мысль так долго, чтоб достичь своего законченного выражения:

И только если мысль годами зреет,
Приходит к совершенству красота.¹

Подобно древним философам Индии и Эллады, подобно всем философам-поэтам, в уединенном, созерцательном покое видит Леонардо высшее блаженство, а в утрате его — утрату сего высочайшего блаженства. Это есть самое сильное переживание в истории человека, постигающего себя. С автопортрета смотрит на нас мудрец-отшельник, свободный от мирских забот, но несущий бремя созерцания — Леонардо да Винчи.

Но разве эта созерцательность бесстрашна? Вспомним арку «Sala d'Asse» в Кастелло Сфорцеско (Милан). Как необычно поют краски в этой цветущей фреске Леонардо! Все весны мироздания с их грандиозной музыкой, так щедро расцвеченной, с их ангельскими венцами и взлетевшими под купола песнопениями, с радостями их и скорбью, — все весны мироздания или одна Весна, переполненная веснами, встречает ликованием каждого, кому дано лицезреть ее. Лишь ураганная душа может так пережить апрель — воистину таинственное пробуждение природы.

Мысли о жизни, о добре и счастье людей с огромной силой влекут к действию, вдохновляя и призывая к борьбе. Не будь этой борьбы, нас просто не стало бы. Но существует и опасность иссякания желаний, идей, как недуг утраты человеком человеческого: «Мне хотелось стать насекомым, но я не смог», — вот оно, бессилие желаний героя Достоевского, искромсанность души, состояние болезненного удовлетворения от ощущения крайне жалкого, покорного нежелания чего бы то ни было в обычной жизненной суете, — утрата человеком человеческого. Там, где нет уже стремления к человеческому, излишне рассуждать о сильных страстях, об их обуздании и о смирении уединения.

Леонардовский покой одиночества произрос на nive царственной простоты и отрицания величия. Лишь великие борются с величием.

«Однажды, оказавшись на вершине самой высокой горы,

¹ Гете. Фауст. Перевод Б. Пастернака.

снежинка стала размышлять, что, мол, ее, крохотную частичку снега, сочтут, пожалуй, выскочкой и зазнайкой за пребывание на такой высоте. И вот она сорвалась с вершины и покатилась вниз. Чем ниже спускалась она в поисках подходящего места, тем больше становилась, вырастая на глазах, а когда совсем остановилась, завершив свой путь, то на земле лежал ком, равный по величине самой горе. Весеннее солнце последней растопило ту снежинку. Сказано: «Да возвысятся смиренные» (Из притч).

Существуют сведения о том, что Аристотель обучал Александра Македонского специальному предмету, развивающему способность познавать человека с первого взгляда. К сожалению, подобный труд Аристотеля не дошел до наших дней. Но на основании этого факта можно сказать — то, что способно превратиться в специальную науку, наиболее очевидно в искусстве автопортрета.

Неспособность распознать человека — трагический, роковой недостаток. Говорят, им нередко страдают даже просвещенные в самых высокоинтеллектуальных сферах. Очевидно, интеллект здесь не главное. — Какое-то отвращение внушает мне твой спутник, — говорит Фаусту тринадцатилетняя целомудренная Маргарита, при первой же встрече почувствовавшая суть Мефистофеля.

Литература и искусство в целом есть искусство автопортрета, и можно думать, что искусство само есть автопортрет, но в то же время для художников это собственный и профессиональный жанр...

В буквах и складках его лица, в лучах его пронизательного взгляда так же, как и за гранью букв его рукописей, мы видим редкостную личность художника Леонардо да Винчи, великий дар его разгадывать человека с первого взгляда и множество иных разнообразнейших даров.

Личность автопортрета Леонардо — это личность не только художника, но и большого ученого, наделенного талантом предельной точности и естественнонаучной наблюдательности, для которого одинаково необходимо как анатомирование трупов и изучение строения птичьего крыла, так и восхищение звездным и беззвездным небом.

Большое искусство немислимо, да и просто не существует без возвышенного философского взгляда на мир, так же, впрочем, как не может ученый быть большим ученым, если не свойственна ему поэтическая восторженность, поэтическое видение и вдохновенье.

Великие мужи Ренессанса поистине исполинским размахом мысли как будто переходят в наступление на античное наследие человечества с тем, чтобы, вобрав его в себя максимально, покорить затем в высоком поединке разума вершины научного и творческого мышления. Можно с уверенностью сказать, что не будь столь мощного и гармоничного подъема науки и философии, искусства и науки, не было бы и великого искусства Ренессанса, ибо эта гармония и зовется Ренессансом...

Автопортрет Леонардо — это биография эпохального героя Ренессанса. В Леонардо слились не только несколько больших художников, но и несколько Бруно и Галилеев, которые, возможно, и противоборствовали в нем. Это скопление в личности Леонардо множества личностей, умещение в одном человеческом сосуде целого созвездия мышлений могло походить разве что на невероятное чудо. И поэтому его рукописи, исписанные странным, неразборчивым почерком, освещающие те или иные вопросы из астрономии или авиации, ботаники или геологии, анатомии или физиологии, обросли пылью за годы и столетия, завяли, подобно ранней весне, но все же какая-то незримая сила пронесла их мощное дыхание над всей Европой.

Идеи Леонардо относительно гелиоцентрической системы мира обнародовал поляк Коперник, пепельный свет Луны, нашедший объяснение в работах Леонардо, заново объяснил и сделал достоянием всех нас немецкий астролог Местлинг, ученые XVI века Командини и Маурилио независимо от Леонардо занимались определением центра тяжести, законы трения заново оказались в центре внимания физиков лишь в XVII—XVIII веках, закономерность расположения листьев в ботанике и многие другие величайшие открытия Леонардо как оригинально поставленные проблемы находят позднее новое осмысление в науке. Ни в ком другом не были столь сильны пророческие переживания грядущих перемен, коим суждено было свершиться уже в новые, наши времена.

Увиденная с этой точки зрения «Тайная вечеря» являет нам Леонардо истинным пророком, пославшим миру великих апостолов, дабы донести до нас таинство своих познаний и ту вечную тягу человечества, имя которой — Свет Добра. В Леонардо так же сосредоточены все его пророчества, как сосредоточены в центральном герое «Вечери» его двенадцать учеников.

С автопортрета же смотрит спокойный, печальный и странный, говорящий притчами мудрец — полный великих

тайн природы и сам ставший тайной — Леонардо да Винчи...

В своей книге «Современный гуманизм» японец Мутаи Рисаку ставит проблему идеала нового человека Земли и называет ее проблемой идеала целостного человека. В ряду первых он имеет в виду Леонардо да Винчи. «В целостном человеке, — говорит Рисаку, — должны быть собраны все возможности человечества. Он должен представлять собой потомка Аристотеля, Леонардо да Винчи, Фомы Аквинского, Лейбница и других...».

Очевидно, что среди художников Леонардо универсальностью своих исканий — художник фаустовского типа. В его искусстве столько же науки, сколько искусства в его науке. Постигая природу, Леонардо находит в ней реализованные возможности человека, которому надлежит на ее примере стремиться к их осуществлению. Художника поражает способность даже малой птицы летать и невозможность полета для людей. Примечая каждую жилку на крыле птицы, он жаждет построить летающую машину, и это суть то же самое, что в человеческом своего искусства и своей философии искать сверхчеловеческое, совершенствуя око сознания до сверхвидения.

Его живопись, сокровенность его тонов наводят на мысль о сопричастности художника каким-то демоническим таинствам...

Сказано, будто царь Соломон знал поименно всех духов и это позволяло ему вызывать в случае надобности любого из них или же отсылать от себя назад. А Орфей? Неземным пением вызволил он свою возлюбленную из царства теней. Леонардо — редкостный властелин и певец в стране красок. А может, у каждой из них есть душа, и Леонардо ведомы их имена? Может, довольно острого взгляда его опасных для простого смертного жреческих глаз, чтоб души эти ринулись к нему с небес или из-под земли? И, верно, в этот миг сотворения Наинейшего волнующий и добрый разум пророка оспаривает первенство у божества...

С экрана веков смотрит живой человек, полный сокровенного трепета пророка, сей час покинувшего Вечерю, живой человек, упрятавший за густыми нависшими бровями боль бытия и милосердие...

Кажется, будто стоит он посреди открытого поля, разделяя собой день и ночь, годы и века, и седая борода его, как лесное чудо, и волосы, как дождь, в котором каждая капля — время, а за ним, за коричневым этим дождем, облаками плывут города Италии, ее улицы и купола...

...Собор Санта Мария дель Фиоре...

...Сияние только что сбросившего леса его купола...
Большой, как Солнце, кованный в мастерской Вероккио золотой шар и крест.

Всякий раз, когда по улицам Флоренции проходил, направляясь к собору, большой красивый человек, он поражал встречных своим коротким (по колено, и это тогда, когда все вокруг носили одежды до пят) цвета порфиры плащом. Казалось, он самого себя растворял в палитре мироздания, и сочетая цвет своего плаща с цветами Матери-Природы, в ее же лоне порождал какое-то неповторимо праздничное зрелище. Не может того быть, чтоб Леонардо не вдохновил Рафаэля, когда тот, работая над созданием знаменитой «Афинской школы», рисовал воздевшего руку Платона...

«Невозможно интимно любить Рафаэля, — пишет один современный философ. — Его искусство есть отвлеченное совершенство композиции, это — те же каноны совершенных художественных форм... Рафаэль — самый неиндивидуальный, самый внеличный художник в мире... Боттичелли, Леонардо да Винчи присуща магия очарования, но ее нет ни у Микеланджело, ни у Рафаэля».

Понятно, что желает сказать автор: Рафаэль поднял академизм на вершину. Да, он поднял академизм на вершину, но при этом остался интимным. Разве можно не любить интимно автопортрет Рафаэля или же царицу автопортретов (в беседе об автопортретах нельзя не упомянуть о ней), и есть ли кто, кого не трогает ее очарование, кого оставляет равнодушным ее андрогинное совершенство, — разве может не сниться Сикстинская мадонна?..

В дни выставки Дрезденской галереи в Москве Сикстинская мадонна была ее эмблемой, и съехавшиеся со всех концов страны посетители простаивали ночи напролет в надежде не сегодня, так завтра оказаться у ног мадонны. Это был великий праздник интимной любви к Рафаэлю, праздник, на котором обрели друг друга Всенародная Любовь и Большой Мастер. Это и была магия очарования.

Можно сказать, что Рафаэль чарует магически, но в переносном смысле слова. Леонардо — маг в прямом его смысле. Есть что-то опасное в искусстве Леонардо, так же, как и в его магии, так же, как и в самой его личности, что явствует из необычного совершенства туринского автопортрета. Именно этот его опасный взгляд не допустит интимной любви. Но для того, чтоб мы не «осудили» его окончательно и не нача-

ли избегать, художник раскрывает перед нами недра своей души в облике самой нежной из нежнейших, самого воздушного из созданий — мадонны Литты.

Леонардовская богоматерь мадонна Литта в живописном царстве Леонардо, в его, можно сказать, живописном эпосе так же возвышенна, как Беатриче Данте. Но, в отличие от дантевской возлюбленной, ее красота — это красота вечного Материнства. Там, где оно главенствует, — первая из первых — мадонна Литта, но там, где на пьедестале нечто иное, никому не уступает первенства Джоконда. Поскольку материнство и отцовство уже не являются идеалом женственного и мужественного (великие мыслители никогда не считали это идеалом), поскольку личность, абсолютную человечность мы принимаем за общий для матерей и отцов идеал, постольку Джоконда силой своей личности превосходит мадонну Литту. Божественная мадонна проявляется и пробуждается в Джоконде и вместе с Леонардо идет к идеалу нового, целостного человека...

В Джоконде дышат жрицы Халдеи, ее глазами смотрит колхская Медея... Магическое колдовство Леонардо с автопортрета оборачивается чарующим колдовством Джоконды.

Леонардо да Винчи и есть Мона Лиза — знаток сокровенного, сильный, добрый и грустный человек, человек в духе Леонардо да Винчи. Своим волшебством, всепокоряющей улыбкой и далеким взором звездочета — она второй автопортрет Леонардо.

Но ни на что и ни на кого не похожа Джоконда так, как она похожа на Данте Алигьери с фрески Джотто Бондоне.

Кто знает, что сказал бы на это сам Алигьери, но скорей всего, обернулся бы, изумленный, с профиля фрески и, посмотрев нам в глаза, явил бы свет очей своих, свое высокое имя «в лучах сошедшего на плечи гор Солнца».

Мадонна Литта — это Беатриче Леонардо; эту ее недоступность, гетевскую вечную женственность, эту Матерь Божию, поистине божественную, художник увидел в глазах Создателя и в горней хрупкости Материнского.

«Зрением постигаем мы красоту творений, в особенности тех, что ведут нас к Любви», — писал Леонардо. Именно эта сила икон да Винчи убедила его в могуществе глаза и зрения, в могуществе видения «зерцалом души» в сравнении с другими чувствами. Об этом же говорило и христианское учение: «...Светильник телу есть око. Если же будет око твое просто, все тело твое светло будет...»

Признание зрения первейшим среди чувств обуславливает и признание Леонардо искусства живописи первейшим среди искусств.

«Что может быть нелепее содеянного Демокритом, — пишет он, — который ослепил себя, дабы обострить мышление, как будто обычные зрительные ощущения могли помешать ему».

Познавая «зерцалом души» и его же, «зеркала души», познанием, Леонардо да Винчи мадонной Литтой воздвиг великое искусство и науку, великую метагеометрию и Благость.

Его жизнь, полная стремления узнать и понять, жизнь странного художника — это большая притча, написанная иконами. И если мадонной Литтой он сравнил себя с Марией, дарующей жизнь, то возможно ли, чтоб портрет его с коричневыми морщинами не обретал себе молодость всякий раз, черпая ее из века в век в воздушной вечности Мадонны.

Перевод Элеоноры КАВЕЛАДЗЕ



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

«Советский писатель»

М. МАЧАВАРИАНИ. **Дождь в Дигоми.** Стихи, поэма (пер. с груз. С. Кокоревой.) М., 1988. — 173 с. 4 000 экз. 55 к.

«Советский писатель»

С. НАРИМАНИДЗЕ. **Виноградник.** Стихи (Пер. с груз. М., 1988. — 159 с. — 55 к. 2600 экз.

«Мерани»

А. КАЛАНДАДЗЕ. **Илья.** Роман (Авториз. пер. с груз. А. Перим. — Тбилиси, 1988. — 463 с. — 20 000 экз., 2 р. 20 к.

«Мерани»

Д. КВИЦАРИДЗЕ. **Однажды ночью.** Повесть, роман, рассказы — Пер. с груз. Д. Джанашвили. — Тбилиси, 1988. — 238 с. — 15 000 экз. — 1 р. 60 к.



«О времени и о себе...»

СЛОВА, вынесенные в заголовок, как нельзя лучше отражают литературную панораму журналов «Мнатоби» и «Цискари», а также газеты «Литэратури Сакартвелო» за зимние месяцы. Различные по стилю, по художественной стихии, мастерству произведения подчеркивают, что жизненные темы для литературы неисчерпаемы, что истинным писателям и поэтам всегда удается поднимать самое обычное до уровня высшего и вечного.

Завершена публикация романа Теймураза Курдованидзе «Дажь нам помощь...» — своеобразной хроники семейной жизни. Счастливо и безмятежно жила семья Отара до смерти сына. «Со смертью Левана все изменились. Стало больно то, что с годами, казалось, затихло, словно бы и не существовало». Айя поняла, что между нею и Отаром пролегла пропасть. Отар по природе своей человек деятельный и жизнерадостный, и когда в его жизнь вошла Дали, молодая красивая женщина, подарившая ему сына, он уверовал в то, что спасен. Но господь слово оставил его, не принесла ему успокоения и счастья

новая семья, умер ребенок, которого родила ему Дали. Он остается один, пытается «убежать от собственной памяти, от Левана и Дали, от Тамро и Айи. От всего своего прошлого и настоящего, чтоб где-то встретить будущее, которое, несомненно, ждало его, хотя Отар ничего не знал об этом».

Писателю удастся рассказать о психологической драме, разыгравшейся в стенах благополучного с виду дома.

Роман «Гонджаура» был написан Тиной Донжашвили в 1964 году. Судьба его сложилась так, что первым с ним познакомился русский читатель: еще в 1971 году журнал «Литературная Грузия» начал печатание этого произведения, но тогда публикация была прервана, и вернуться к ней стало возможно только шестнадцать лет спустя, в 1987 году. И лишь в конце того же 1987 года роман был представлен грузинскому читателю.

События, которые в нем разворачиваются, не могут оставить читателя равнодушным. Они относятся к не совсем далекой истории нашей страны и, как отмечалось в четвертом номере нашего журнала (1987 г.), «траги-

ческим образом сказались на всем последующем развитии экономической, общественной и культурной жизни Грузии». Итак, тот, кто хочет прочитать роман Т. Донджавили «Гонджаура», может открыть следующие номера «Литературной Грузии»: 4, 5, 6 за 1971 год и 4, 5 за 1987.

Прошло более четырех десятилетий с тех пор, как отгремела Великая Отечественная война, но писатели вновь и вновь обращаются к этой теме. Роман Отии Иоселиани «Черная и Голубая река» возвращает нас в ту страдную и героическую пору. Рассказывая о пережитом, писатель с удивительной достоверностью передает тончайшие нюансы человеческой психологии. Публикация еще не завершена, поэтому речь о романе пойдет в следующем обзоре.

Как известно, сценарий фильма «Покаяние» создан по сюжету произведения Нодара Цулейскири, писателя, хорошо знакомого и любимого грузинским читателем. В основу романа «Гиена» положен подлинный факт. В одной из мегрельских деревень ночью раскопали могилу, вырыли гроб и выбросили труп. Таким образом тот, кто совершил это, хотел наказать зло. По словам Н. Цулейскири, «весть эта передавалась из уст в уста, распространилась по всей Западной Грузии и стала своеобразным уроком для людей последующего поколения: не совершай в жизни зла, чтоб после смерти твой прах не вырыли из могилы». Читается роман с неослабным интересом. Опубликовано

на пока что лишь первая его часть.

Известный английский писатель, мастер короткого рассказа В. С. Притчетт писал: «Я всегда полагал, что автор рассказа должен обладать талантом репортера, афориста-остроумца, моралиста и поэта... форма рассказа сродни форме сонета или баллады...». Слова эти всплывают в памяти, когда читаешь рассказы «Из настольной тетради» Реваза Инанишвили. Обозревая печатную продукцию, нужно быть предельно объективным, но в данном случае трудно умолчать о нашем давнем пристрастии к творчеству этого писателя. Пишет он о том, что хорошо знает или пережил сам, и его, казалось бы, скупая, но одновременно и глубоко эмоциональная, нелегко поддающаяся переводу проза, тематический диапазон которой очень велик, имеет не только локальный, грузинский, а общечеловеческий характер.

По простоте, по точности и выверенности деталей рассказы Р. Инанишвили напоминают чеховскую прозу. Сердце писателя открыто всем радостям и печальям мира (здесь уместно назвать и публикацию «Из новой книги» в газете «Литератури Сакартвело»), он интересен во всем: в том, что и как видит, на чем останавливает свое внимание, как строит свои короткие, лаконичные рассказы.

«Малая проза или эссеистические заметки» Тенгиза Буачидзе и в этот раз свидетельствует об активной позиции писателя, размышляющего о ценностях нашего

общества и отражающего духовный, нравственный климат его.

Джемал Карчхадзе — писатель весьма тонко чувствующий пульс времени, пользующийся широкой популярностью у грузинского читателя. События в рассказе «Сожаление Юпитера» разворачиваются в Римской империи поры правления Нерона, но чуткий читатель непременно уловит в этом произведении и тревоги и заботы века нынешнего.

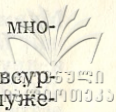
«Женщины стремились к запретному плоду со времен адамовых. То, что они, прислушиваясь к собственному сердцу, готовы на самый странный, необдуманный поступок, — всем известно. Любовь приходит к ним чаще всего внезапно и то, что в это время большинство из них становятся чрезвычайно смелы в своих поступках — тоже всем ясно. Но что женщина может совершить такое, с чем я столкнулся двадцать лет назад, я не мог себе даже представить и недоумеваю по сей день», — так начинается новелла Соломона Самхараули «Вылет задерживается до утра». Действие разворачивается в горах Тушети, сказочном, экзотичном крае, где и по сегодняшний день живут по законам предков. Непогода собрала на горном аэродроме самых разных людей, в том числе высокого мужчину с увечной рукой — Эфрома, жениха с невестой и других. Мы узнаем о любви Эфро и Анано (Эфро сам рассказывает о ней), об их счастливой и безмятежной жизни в горах. Но вот однажды пришел к ним незнакомец, не охотник и не па-

стух. Пригласили его, по горскому обычаю, к столу. Пить он отказался, на вопросы отвечал неохотно, только ел жадно. Эфро же, сам не зная почему, в этот день выпил. К концу обеда пришел вдруг сказал ему: «Будем драться». И поединок состоялся. Когда же ценой нечеловеческих усилий (Эфро, освобождаясь от веревки, спалил себе левую руку) Эфро одолел человека, посягнувшего на его честь и честь его жены и сбросил его в пропасть, он не узнал своей Анано — что-то надломилось в ней. Вслед за этим Анано исчезла — так и не смог он отыскать ее или же узнать о ее судьбе. До сих пор Эфро не знает, что заставило Анано совершить этот поступок — ненависть ли, презрение ли к мужу... Когда Эфро рассказывал о себе, невеста бросила на жениха странный взгляд, собираясь что-то сказать, но промолчала. Поздно ночью все уснули. Под утро всех поднял на ноги невообразимый шум. Эфро и еще несколько пассажиров, в том числе жениха и невесты, не было видно. «— Что случилось? — спросил я у женщины в красной косынке.

— Тот, однорукий, — сказала она, — похитил невесту.

— Не похитил, она сама пошла за ним, — поправила ее старуха». Вот такая необычная история рассказана автором новеллы, в которой нарисованы не только простые и бесхитростные характеры горцев, но даны и удивительно красочные картины природы.

С Джемалом Топуридзе



русский читатель знаком по небольшой книжке «Диоскурия», вышедшей в издательстве «Мерани» в 1983 г. Писатель прожил недолгую жизнь, тем более примечателен факт публикации небольшого, психологически тонкого рассказа «Троллейбус», написанного с мягким юмором.

С интересом читается новое произведение Мераба Абашидзе «Сказка о прекрасном», в котором присутствует элемент мистерии. Перед читателем открывается мир, полный удивительных случайностей. Действие начинается со спокойного рассказа о герое (повествование ведется от первого лица), которому в то время было всего семнадцать лет. Встреча с Нино изменила его жизнь, с того дня начались самые невообразимые перевоплощения. Героям для того, чтоб приблизиться к красоте, приходится пройти через испытания.

Реальная действительность в рассказе чередуется с мистерией, одно неизбежно — красота, утверждает писатель, она вечна, не умирает. Мысль эта созвучна мысли Достоевского — «Красота спасет мир». (Известно, что формула эта родилась у русского писателя, когда он созерцал картину Рафаэля).

Суть рассказа Михаила Антадзе «Выходной день Элизбара Зергинава» можно объяснить его заключительными строками: «...Он шел с надеждой, что вечная борьба Мрака со Светом завершится его — Элизбара Зергинава победой, хотя чувствовал, что на это не хватит только его жизни, понадо-

бится, вероятно, жизнь многих поколений».

Колоритный образ хевсурки, олицетворяющей мужество и доброту, нарисовал Годердзи Чохели в рассказе «Агунда». Непримиримость, неприятие зла и бездушные — тема второго его рассказа «Бессердечный».

Колоритом, тонко подмеченными черточками национальных характеров, точными психологическими наблюдениями отмечены произведения — Ваню Чхиквадзе «Печаль цветка, запряганного в книгу», Кобы Кадагидзе «Ноктюрн Шопена», Отара Цурцумия «Знаешь, как он красив» и «И друга...», короткие рассказы Мананы Санадирадзе, отрывок из повести Лейлы Берошвили «Каждый день».

Широка и разнообразна поэтическая палитра литературной зимы. Мы знакомимся со стихами самыми разными — и по литературному мастерству, и по силе постижения действительности, и по глубине и содержанию стихов, и по художественному откровению. Много имен, знакомых русскому читателю: Григол Абашидзе, Роман Миминошвили, Морис Поцхишвили, Мурман Лебанидзе, Хута Берилава, Бесик Харанаули («Книга полудня», в которой поэт, по его словам, объединил «стих и боль... И вот вам песня, которую я пою...»), Таризл Чантурия, Тэдо Бекишвили, Гурам Петриашвили, Гиви Дзнеладзе, Вахтанг Харчилава, Мика Алексидзе (грузинский читатель знает его как прозаика, но теперь он серьезно заявил о себе как о поэте), Гиви Алхазисхвили,

Мурман Джгубуриа, Джарджи Пховели, Бату Данелия и другие (со многими из них русского читателя ждет встреча и на страницах нашего журнала). Есть и молодые имена, это Марина Хуцишвили, Тамар Махарадзе, Давид Чихладзе, Малхаз Мачавариани, Гия Муджири, Зураб Лобжанидзе и другие.

К сожалению, мы ограничены рамками обозрения и не можем отразить широкую поэтическую панораму, потому, следуя характеристике М. Цветаевой, называем лишь некоторых «поэтов-эпиков» и «поэтов-лириков». Однако об одной поэтессе все же хочется сказать несколько слов.

В публикации «Из настольной тетради» Ревазу Инанишвили есть такие слова: «Невольно вспоминается мне строка «Молча плачут уставшие кости...». Если написать их в пятнадцать лет, вряд ли кто посмеет сказать, что написал их молодой поэт».

Эти слова «невольно вспоминаются», когда читаешь новые стихи совсем еще юной поэтессы Эки Бакрадзе. Вот одно из ее стихотворений — «Отражение» (в подстрочном переводе):

**В незнакомку
всматриваюсь я,
как в зеркало,
в котором**

острым зрением
замечаешь все мелочи...
В незнакомом городе
я брожу,
пристально вглядываясь
в прохожих,
и, как к чему-то
значительному,
прихожу к заключению,
что ненадолго могу
задержаться
в чужом городе...
Как на отражение в
зеркале,
взгляну я на себя
и пойду своей дорогой...
И когда тревога,
странная и вкрадчивая,
как чей-то пристальный
взгляд,
заставит меня оглянуться,
я приду к убеждению,
что нечто очень

значительное
порой и в самом деле
пробуждается в нас,
когда иногда остаешься
наедине с самим собой, —
как в зеркале
или же в совершенно
незнакомом городе.

Это — уже взрослые стихи.

В нашем обозрении мы заострили внимание лишь на основных произведениях, опубликованных за данный период, стараясь избежать своих художественных симпатий и лишь констатируя, что в произведениях, представленных на суд читателя, авторы прежде всего говорили о времени и о себе.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.



Гарун АКОПОВ

Странички спортивной летописи

Выручил автоинспектор...

Более тридцати лет назад — летом 1956 года — было положено начало Спартакиадам народов СССР. Сегодня никого не удивишь размахом и масштабами этих состязаний — крупнейших в истории мирового спорта — как, впрочем, и уникальными праздниками в честь их открытия. А той — первой — Спартакиаде предшествовала грандиозная, как нам казалось, звёздная эстафета, задуманная как рапорт физкультурников страны Родине. Стартовав в различных уголках Советского Союза — на Дальнем Востоке, в Средней Азии, Прибалтике, Закавказье, — участники должны были финишировать в Москве в день торжественного открытия Спартакиады — 5 августа. Один из маршрутов эстафеты, пролежавший в столицу через Ереван-Тбилиси-Ростов-Донецк-Тулу мне было поручено сопровождать в качестве специального корреспондента «Советского спорта».

График движения и состав участников были детально разработаны и должны были неукоснительно соблюдаться. О том, с какими непредвиденными осложнениями пришлось столкнуться в пути, хочу рассказать на примере одного дня — 24 июля.

...Утром колонна мотоциклистов взяла курс из Кутаиси на Батуми. Здесь эстафету приняли спортсмены Аджарского водно-моторного клуба и на глассерах доставили её в Поты. Оттуда в Зугдиди вновь шли мотоциклисты. Зугдидцы чуточку заты-

нули митинг. Все бы ничего, но портиться стала погода. А до Сухуми, где была запланирована ночевка, оставалось ещё два этапа — конный и велосипедный.

Едва выехали из Зугдиди, начался проливной дождь. Уже затемно, промокшие до нитки, конники отрапортовали в Абаше ждавшим их велосипедистам. Те готовы отправиться в дорогу, но организаторы, оценив сложность ситуации — ливень, наступившую темноту, — предложили подвезти велосипедистов... на автобусе. И слышать об этом не хотят — пойдем своим ходом. Замешательство длилось недолго. Выручил автоинспектор, отвечавший за безопасность движения велоколонны. Он заявил, что солидарен со спортсменами и будет сопровождать их до Сухуми. В наши дни это было бы не так сложно — на службе ГАИ вертолеты, «канарейки» с мигалками и сиренами, современная техника. А тогда — старенький «ижики» с коляской, луч фары которого едва высвечивал клочок дороги перед колесом...

Когда в Сухуми мы добрались до гостиницы, было далеко за полночь. А ровно в семь ноль-ноль, как и было предусмотрено графиком, эстафета ушла дальше, на Сочи.

Автоинспектор, проявивший настоящий спортивный характер и мужество, оказался спортсменом. Это был Георгий Саная — мастер спорта по борьбе, брат известного всей стране вратаря.

Бухарест, которого я не видел

Вскоре после прохождения судейского семинара, организованного Международной федерацией баскетбола в Англии, я и мой напарник по семинару Юра Мухамедзянов (в ту пору — аспирант Казанского государственного университета, ныне — доктор химических наук, профессор), получили назначение на матч женских сборных команд Румынии и Польши в Бухарест.

Позвонил в Москву, выяснил: билеты заказаны на субботу, игра — в воскресенье. Оставив себе про запас еще пару дней, решил вылететь из Тбилиси в среду. Но среду и четверг пришлось провести в... тбилисском аэропорту — не было погоды. В пятницу наконец удалось вылететь.

Суббота. Сидим с Юрой в самолете, вылетающем по маршруту Москва — Бухарест — София. Проходит час, другой, третий и вдруг объявляют: «По метеоусловиям трассы самолет полетит прямо на Софию, пассажиров на Бухарест про-

сим вернуться в здание аэровокзала». Только поздно вечером «бухарестцев» снова приглашают на посадку. Взлетаем, летим часа три и садимся в... Киеве — Бухарест не принимает. Но идем в Борисполе. В воскресенье после полудня снова поднимаемся в воздух и, кажется, нам везет — Бухарест открыт. Приземлившись, убеждаемся, почему рейс многократно откладывался — за последние дни здесь навалило более полуметра снега (была середина декабря 1961 года), посадочную площадку не успевали расчищать.

В аэропорту нас, естественно, никто не встречает — ждали в субботу с утра, потеряли все надежды. С помощью представителя Аэрофлота узнаем, где назначена игра, и на его машине едем в спортзал «Флёряска». Приезжаем в самый раз: команды уже разминаются, а наши дублеры — местные арбитры — готовы к выходу на площадку. Устали мы страшно (сейчас бы покушать и поспать), но и в мыслях нет отказаться от матча. Как-никак он первый, который мы судим в ранге арбитров международной категории. Хозяева смотрят на нас, растеряны.

— Где тут можно побриться? — спрашивает Юра и сразу снимает все вопросы.

...А утром, чуть свет, в гостинице нас разыскал представитель Аэрофлота:

— Если надумаете лететь, ребята, — собирайтесь быстро. Прогноз неважный, можете застрять здесь надолго.

Так в ту поездку Бухареста мы и не увидели.

Шоколад с... чесночной приправой

Редакционное задание было сформулировано довольно буднично: передать репортаж о массовой альпиниаде на Казбек.

В базовый лагерь, расположенный на окраине села Казбеги, где проходили акклиматизацию и завершали тренировки участники альпиниады, я прибыл за два дня до выхода на маршрут. Один из инструкторов, мой давний знакомый журналист Костя Нуштаев возьми да скажи:

— Что это за репортаж будет из лагеря. Вот если б ты с нами на вершину пошел, тогда другое дело.

Шутит, наверное, подумал я. Возможно ли с ходу, без подготовки идти в такой сложный поход? Но когда Нуштаева поддержал опытный горновосходитель мастер спорта Леван Суджашвили («Не робей, мы над тобой шефство возьмем»), сомнения исчезли. По сокращенной программе пройден «техмини-

мум», пригнано оборудование, получен запас продуктов. К старту готов.

...Третий день пути. Едва миновали затяжной подъем и вышли к гребню склона, прозвучала команда: «Привал!» Не теряя времени втыкаем, как учили, ледорубы поглубже в снег, прислоняем к ним рюкзаки и располагаемся тут же на отдых. То ли по неопытности, то ли из-за усталости, ледоруб я закрепил, как видно, плохо — он не выдержал взваленного на него груза и... рюкзак полетел в пропасть. Летел он по склону метров триста, сопровождаемый сочувственными и укоризненными взглядами. В нем весь мой скарб — спальный мешок, теплые вещи, записные книжки, фотоаппарат, продукты. Что буду делать без них? Впереди ведь самое трудное — ночевка перед штурмом и сам штурм вершины.

Первым на помощь пришёл Суджашвили — без лишних слов отправился со мной вниз, на поиски пропажи. Шли мы, несмотря на усталость, быстро — надо было еще разыскать рюкзак и успеть засветло добраться к месту ночлега. Суджашвили, десятки раз водивший группы по этому маршруту, отлично знал местность и свободно ориентировался. Это я понял, неожиданно увидев рюкзак буквально в трех метрах перед собой. А мне казалось — до него еще идти и идти. Туго набитый (ремни на нем с трудом застегивались), он показался мне каким-то сморщившимся, напоминая плохо накачанный мяч. Заметив мою растерянность, Леван, напустив на себя серьезность, предложил:

— Открой, посмотри, все ли на месте.

Я не сразу уловил в его словах подвох. Что смотреть, что проверять? Кто мог здесь, на дне безлюдного ущелья, посягнуть на содержимое мешка?

Расстегнув ремни, я понял, что имел в виду Суджашвили. Все, конечно, оказалось на месте, но в... перемешанном виде, словно размельченное в большой ступке: печенье, чеснок, шоколад, хлеб, лук, сахар. Эдакая «сборная солянка» в сухом виде.

— Пропали продукты, — говорю Левану.

— Ничего — проголодаешься и так съешь.

Бывалый альпинист знал, что говорил — новые «блюда», появившиеся в моем рационе, улетались за милую душу, как деликатесы.



Многие, наверное, помнят матч баскетболистов СССР и США на Мюнхенской Олимпиаде с его захватывающим драматическим финалом и броском Саши Белова, в последнее мгновение сделавшим нашу команду олимпийским чемпионом. Помнят, думаю, и то, как американцы оспаривали законность заброшенного Беловым мяча, утверждая, что время матча истекло. Был заявлен протест и апелляционное жюри вместе с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола Уильямом Джонсом собралось на экстренное совещание для его разбирательства.

Время было позднее. В первом часу ночи закончился сам матч, минут сорок ушло на дебаты в зале и сбор участников совещания, и вот уже больше часа заседает жюри. А у меня в шесть утра—сеанс связи с Москвой и надо отдиктовать стенографисткам «Советского спорта» отчет об этом матче. Чтобы не сорвать передачу, надо решить как минимум две проблемы. Первая — получить решение жюри, от которого во многом зависит содержание отчета, его тональность. С колоссальным трудом удастся вызвать из зала нашего представителя — вице-президента ФИБА Н. В. Семашко. Спрашиваю: «Как быть?» Николай Владимирович разводит руками: «Ждать!» Легко сказать—ждать. Газета ждать не может. Надо ехать домой и садиться за работу — ничего другого не остается.

Но до «дому» — пресс-городка — километров восемь, а на часах — начало четвертого. Найти машину в этот час, здесь, на окраине города, — проблема. Что делать? Не идти же пешком?

Стою на обочине, держа перед собой, как пароль, выданную в пресс-центре фирменную сумку, по которой сразу узнаешь журналиста. И тут, прямо как в сказке, подкатывает «Мерседес» с наклейками «Пресса» на дверцах. А в нем, кроме водителя, — трое пассажиров с такими же сумками, как у меня. И едут коллеги прямо в пресс-городок.

...Точно по графику отчет был передан в редакцию, хотя сообщение об отклонении протеста поступило только после полудня.

«Спасибо, Гиви!»

Решение тренерского совета доверить Автандилу Коридзе место в основном составе олимпийской сборной кое-кому по-

казалось поспешным. Парень, безусловно, талантлив, соглашались оппоненты, но не имеет опыта, даже чемпионом страны не успел стать. И это в легком весе, где наша сборная ^{сильно} сдала свои позиции, не выиграв за последние пять лет ни одного крупного международного соревнования. Вот и удивительно, что в подобной ситуации предпочтение отдано новичку. Но Аркадий Николаевич Ленц, руководивший подготовкой борцов, настоял, чтобы на Олимпийские игры в Рим поехал именно Коридзе.

— Ну, Гиви, тебе поручаю Автандила, помоги ему, поддержи, — так напутствовал Ленц своего давнего друга Гиви Картозия, вручая ему ключи от комнаты в олимпийской деревне.

Аркадий Николаевич знал, что делал: с кем же селить новобранца, как не с его же земляком и кумиром, за плечами которого были победы и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх.

...Круг за кругом и Гиви и Автандил шли без поражений. И вот настал решающий день. День финалов, 31 августа.

Шансы Коридзе на золотую медаль расценивались очень высоко. Особенно после того, как главных соперников — финна Киоси Лехтонена и неуязвимого «железного» шведа Густава Фрея (который побеждал еще 12 лет назад — на Олимпийских играх в Лондоне) он оставил позади. Теперь его ждал поединок с югославом Бранко Мартиновичем.

Положение Картозия было сложнее. Впервые выступая в полутяжелом весе, этот всемирно признанный средневес победил превосходивших его по весу американца Хоурда, финна Вайханена, немца Альбрехта, румына Поповича, венгра Пити. Не проигрывал на пути к финалу еще один полутяжеловес — знаменитый турок Тевфик Киш, у которого к тому же штрафных очков накопилось меньше, чем у Картозия. А это значило, что в финале Киша может устроить и ничья. Картозия же нужна только чистая победа — даже выигрыш по баллам приносил ему серебряную медаль.

Итак, 31 августа...

Весь этот день я провел в олимпийской деревне вместе с Гиви и Автандилом в их «олимпийской квартире» и смею утверждать: не будь Гиви рядом, неизвестно, как все обернулось бы для Коридзе. Опытный, многократно прошедший через все это Картозия, забыв о себе, опекал Автандила, оберегал его от лишних волнений, сам советами не докучал и другим не позволял. Даже в столовую не пустил — сходил сам, при-

нес все необходимое и мы обедали в «домашней обстановке». Вплоть до самого выхода Коридзе на ковер Гиви не отходил от него и только после его победы начал готовиться сам.

...Физически мощный и хитрый Киш отлично понимал, что Картозия должен — если он не смирился с мыслью быть вторым или третьим — пойти на риск. И Киш, уйдя в глухую защиту, стал ждать. Гиви и так старался втянуть соперника в борьбу, и этак, а Киш оставался глух к этим попыткам. Тогда Картозия пошел на смелый шаг — раскрылся, как говорят борцы. Только этого и ждал Киш — ему удалось заработать один единственный балл. Он все и решил — в оставшуюся минуту с небольшим Гиви больше бегал за Кишем, чем боролся с ним.

А вечером, когда в олимпийской деревне чествовали героев дня, Аркадий Николаевич Ленц, поздравив Коридзе с золотой медалью, по-мужски, без лишних слов поблагодарил Картозия:

— Спасибо, Гиви!

А в команде его не было...

Еще Пьер де Кубертен — основатель современных Олимпийских игр — сказал, что главное не победа, а участие в Играх. В развитых странах, где в наши дни количество высококвалифицированных спортсменов порой превышает количество вакансий в олимпийской команде, этот тезис («главное — участие») обретает несколько иное звучание. Заслужить место в национальной сборной, завоевать его бывает иногда труднее, чем выиграть, скажем, крупный международный турнир или чемпионат континента. Громкие титулы и былые заслуги могут не выручить — нужно сегодня, на данный момент быть сильнее конкурентов.

...Мастер пулевой стрельбы тбилисский динамовец Шота Квелиашвили, за плечами которого были и рекорд мира, и победы на европейском и всесоюзном чемпионатах, в составе сборной команды Советского Союза готовился к предстоящим в Токио XVIII Олимпийским играм. По результатам тренировочных стрельб и соревнований место в основном составе ему, казалось, обеспечено. И вдруг перед самым отъездом выяснилось, что тренеры не включили Квелиашвили в команду.

В Токио Квелиашвили все-таки поехал. Потребовалось вмешательство и настойчивость председателя Спорткомитета Грузии, Георгия Васильевича Сихарулидзе. Дело вовсе не в

том, что руководитель спортивной организации республики хотел видеть среди олимпийцев больше своих земляков. Просто Сихарулидзе лучше других знал возможности Квелиашвили, верил в него.

Нужно ли говорить, как там, в далеком Токио волновались за нашего стрелка все мы, посланцы Грузии — спортсмены, тренеры, журналисты, знавшие эту историю. И как были счастливы, когда Шота с честью выдержал труднейшую борьбу с сильнейшими снайперами мира и с результатом, превышающим прежний олимпийский рекорд, завоевал серебряную медаль. Тем более, что эта награда оказалась единственной, полученной в Токио командой советских стрелков.

А его не хотели брать в команду.

«Тбилисо» по-токийски

День приезда выдался хлопотным и утомительным. С утра нас изрядно покачало в вечно беспокойном проливе Лаперуза, затем — затянувшиеся формальности с въездными документами и багажом, переезд из Иокогамы в Токио, наконец, размещение в Доме прессы столицы — был специально построен к Олимпийским играм и предназначался для журналистов. При нем, как принято, работали информационный центр, узел связи, пресс-бар, кафе, ресторан. Туда мы и направились, уставшие и изрядно проголодавшиеся, поужинать.

Народу в этот поздний час было немного, наше появление не осталось незамеченным. Мы это сразу поняли — из динамиков полились «Подмосковные вечера». Магнитофонная запись — решили мы и лишь позже обратили внимание на небольшую эстраду и пианиста. Нескольких аккордов было достаточно, чтобы убедиться в высоком профессионализме талантливого импровизатора. А вслед за «Вечерами» он заиграл «Очи черные» в такой оригинальной интерпретации, что знакомая с детства мелодия зазвучала по-новому, свежо.

Поднявшись к себе в номер, я выбрал для пианиста два сувенира — сванскую шапочку и диск с записью «Песни о Тбилиси». В тот вечер Такаси — так звали молодого музыканта — еще долго играл для нас старинные цыганские романсы, популярные джазовые мелодии. И уж окончательно покорила на следующий вечер своей музыкальной версией «Тбилисо» Реваза Лагидзе. И все дни, что провели мы в олимпийском Токио, под сводами огромного зала пресс-дома звучала песенка о нашем родном городе.

...У меня и сегодня стоит на письменном столе подарок
Такаси — станочек для точки карандашей.



Автограф Затопека

Среди почетных гостей Токийской олимпиады находился и популярный чехословацкий спортсмен — обладатель трех золотых медалей XV Олимпийских игр в Хельсинки Эмиль Затопек. Большую часть времени Затопек, естественно, проводил на Национальном стадионе, где состязались легкоатлеты. И стоило ему появиться на трибунах, как сразу же вокруг собиралась толпа охотников за автографами.

Прославленного бегуна «опознавали» не одни только приверженцы легкой атлетики. В спортивном зале Комадзава Затопек наблюдал за схватками борцов на ковре. И случилось так, что возвращаться на стадион ему пришлось в автобусе журналистов. Курсировал транспорт прессы с поразительной точностью — минута в минуту. А тут пришлось нарушить график — водитель с улыбкой ждал, когда Затопеку удастся вырваться из плотного кольца поклонников.

Наконец Затопек поднялся в салон машины, вздохнул облегченно и... засмеялся — к нему были протянуты наши блокноты. Мне повезло больше остальных — место рядом было свободно и Затопек оказался моим соседом. Так и появилась в моем блокноте запись, которую Затопек, свободно владеющий русским языком, сделал для «Зари Востока», сопроводив ее семейным автошаржем: он убегает от жены Даны Затопковой, олимпийской чемпионки по метанию копья.

А на лацкане пиджака прославленного спортсмена стало на один значок больше — рядом с другими там появился знак спортивного общества «Гантиади».

«Запасным труднее...»

История о том, как футболисты тбилисского «Динамо» выиграли международный матч по баскетболу любителям спорта может быть известна хотя бы по книге Автандила Гогоберидзе «С мячом за тридевять земель». Вкратце она такова. В декабре 1945 года динамовцы выезжали в Румынию на три товарищеских матча с сильнейшими клубами страны. Игры проходили в мороз, на заснеженных и обледенелых полях. Тренировки же динамовцы перенесли в зал, где между собой играли в баскетбол. Хозяева, не ожидавшие, видимо, что футбо-

листы так уверенно будут чувствовать себя в чуждой для них игре, предложили в спарринг-партнеры им местных баскетболистов. Руководители нашей делегации, полагая, что это будет нечто вроде совместной тренировки, дали согласие. Каково же было их удивление, когда они увидели... переполненный зрителями зал. Отступить было поздно, да и незачем — наши ребята так успешно сыграли, что вместо одного матча им пришлось провести два.

И все же это было не первое их публичное выступление на баскетбольной площадке. Годом раньше в Тбилиси для проведения товарищеских встреч с одноклубниками приезжали баскетболисты бакинского «Динамо». После завершения всех запланированных матчей гостей попросили провести еще один — против футболистов тбилисского «Динамо». Как вспоминает один из инициаторов этого матча Борис Соломонович Пайчадзе, футболисты, получив согласие, тренировались... всю ночь, утром разошлись отсыпаться, а вечером вышли на площадку в своей обычной форме — в длинных до колен трусах, вызвав добрые улыбки собравшихся.

В динамовском спортивном зале, что на улице Бесики, собралось огромное по тем временам множество зрителей.

В стартовой пятерке тбилисцев играли Борис Фралов, Ушанги Салдадзе, Виктор Панюков, Арчил Кикнадзе и Виктор Бережной, в резерве находились Борис Пайчадзе, Григорий Челидзе, Гайоз Джеджелава, Михаил Бердзенишвили. Матч, проходивший в строгом соответствии с баскетбольными канонами, судил один из авторитетнейших советских арбитров — судья всесоюзной категории Михаил Захарович Цхведадзе. Закончился он победой тбилисцев с разницей в три очка.

— Никогда так не волновался и не переживал, — вспоминал Борис Соломонович. — Очень, оказывается, трудно наблюдать за игрой со скамейки запасных.

Сдано в набор 29.03.88 г. Подписано к печати 10.05. 88 г. Формат 84×108¹/₃₂. УЭ 08976. Высокая печать. Печ. л. 7,0 — усл. печ. л. 11,97, Уч.-изд. л. 14,0. Тираж 5 400. Заказ 804. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон: 99-06-59.

291
25.V 388

Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Резо АМАШУКЕЛИ (заместитель главного редактора),
Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Реваз
АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Анаида БЕСТАВАШВИЛИ,
Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА,
Алексей ГОГУА, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Марк ЗЛАТ-
КИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь).
Михаил ЛОХВИЦКИЙ, Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,
Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Серги ЧИЛАЯ.

ТЕЛЕФОНЫ: Главный редактор — 93-65-15, заместитель
главного редактора — 93-13-57, ответственный секре-
тарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы —
93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию»
обязательна.

ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი

„ლიტერატურნაია გრუზია“

(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო
გამოდის 1957 წლის ივნისიდან

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14.

26-88

65 к.

88-23

ՀԱՄԱՅԵՆՔԱՆ
ԶԳՐԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ИНДЕКС 76117